

**ГЕОРГИЙ  
ВЛАДИМОВ**  
**ГЕНЕРАЛ  
И ЕГО  
АРМИЯ**

Роман

# Георгий Николаевич Владимов

## Генерал и его армия

### Серия «Предметы культа»

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6896892](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6896892)  
Генерал и его армия: Олма-Пресс; М.; 2023  
ISBN 978-5-17-156059-1*

#### **Аннотация**

Георгий Николаевич Владимов (1931–2003) – писатель, правозащитник. Лауреат премии «Русский Букер».

Роман «Генерал и его армия» – «Война и мир» XX века – входит в корпус важнейших книг о Великой Отечественной войне. Подобно тому, как сплетаются в романе судьбы трех генералов – Гудериана, Власова и вымышленного Кобрисова, – автор соединяет личное и историческое, доблесть и предательство, победу и поражение.

В 2001 году в России «Генерал и его армия» был назван лучшим буковским романом десятилетия и удостоен премии Андрея Сахарова «За гражданское мужество писателя».

# Содержание

Генерал и его армия	5
Глава первая. Майор Светлооков	5
1	5
2	39
Глава вторая. Три командарма и ординарец	75
Шестериков	
1	75
2	102
3	111
4	146
5	159
Конец ознакомительного фрагмента.	177

# Георгий Николаевич Владимов Генерал и его армия

*Простите вы, пернатые войска  
И гордые сражения, в которых  
Считается за доблесть честолюбье —  
Всё, всё прости! Прости, мой ржущий конь,  
И звук трубы, и грохот барабана,  
И флейты свист, и царственное знамя,  
Все почести, вся слава, всё величье  
И бурные тревоги славных войн!  
Простите вы, смертельные орудья,  
Которых гул несётся по земле.*

*Уильям Шекспир.  
Отелло, венецианский мавр. Акт III*

© Владимов Г.Н., наследники

© ООО «Издательство АСТ»

# Генерал и его армия

## Глава первая. Майор Светлооков

### 1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрывками, по истерзанному асфальту – «виллис», король дорог, колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щётки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыхающим непрерывно – громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, – свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые вёрсты пути оказываются непроходимыми – из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху тёмной жижей, – тогда он переваливает кювет наискось и жрёт дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травой, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а

позади остаются мокрые простреленные перелески с чёрными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнывать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.

Попадают ему мосты – из наспех ошкуренных брёвен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, – он бежит по этим брёвнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и ещё колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над чёрной водою.

Попадают ему шлагбаумы – и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.

Попадают ему пробки – из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигнализирующих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти пробки, тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, – для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шофёры долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих – кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, –

нет, вынырнул на подъёме, песню упрямства поёт мотор, и нехотя ползёт под колесо тягучая российская верста...

Что была Ставка Верховного Главнокомандования? – для водителя, уже закаменевшего на своём сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаюсь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове – «Ставка» – слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознёсшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его – долгожданная стоянка, обнесённый стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоянного, о котором он где-то слышал или прочёл. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течёт промеж шофёров нескончаемая беседа – не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжёлыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого – прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном – водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землёй, на станции метро «Кировская», и её кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижимого поезда разместились буфеты и

раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шофёров разведать – как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлечённом – Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придётся специальный кожух наращивать, а это же горб, – и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще – много ли от них пользы, – коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему.

Какие перемены *конкретно*, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения ещё нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придёт даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, – сказал вдруг коллега, – ты-то, может, и доберёшься. Случаем Москву повидашь – кланяйся». Выказать удивление – какая могла быть Москва в самый разгар наступления – Сиротину, шофёру командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдалённый, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло – не звон, вышло и вправду – Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться – смонтировал и поставил неезженные покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для ещё одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, – генерал его не любил: «Душно под ним, – говорил, – как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не даёт», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбёжке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем – и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, ещё довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного

в Ставку, не говоря уже – за себя самого: кого ещё придётся возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться пожалуй что и побольше, всё же кабинка крытая, не всякий осколок пробьёт. И было ещё чувство – странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чём и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось – если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа – самого генерала и не поцарапало, зато *под ним*, как в армии говорилось, *убило* два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чём и ходила стойкая легенда: что «самого» не берёт, он как бы *заговорённый*, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, «виллисы» эти *убило* не совсем *под ним*. В первый раз – при прямом попадании дальнобойного фугаса – генерал ещё не сел в машину, призадержался на минутку на КП<sup>1</sup> командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз – когда подорвались на противотанковой mine – он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать

---

<sup>1</sup> Командный пункт. – Здесь и далее примечания автора.

куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем дорога-то была разминирована, а рощу сапёры обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговорённость, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придётся до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчётов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчётный, который чем безотчётнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-нито канавке перележать, за ничтожной кочкой, – а блиндаж-то и разнесёт по брёвнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то чтобы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, – значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!

С миной – ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берёз? Да хрена с два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», –

кто проверял, для того и нет, он свои ноги унёс уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»<sup>2</sup> оставил в спешке; да хотя б он всю рошу пузом подмёл – известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее – на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнёс на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды – как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат – и сдуру ему поклоняются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчётное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками – но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мёртвым? – и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно ещё хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, – тогда, быть может, и пронесёт мимо. А главное... главное – тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же

---

<sup>2</sup> ПТМ, противотанковая мина.

безотчётность... Где-нибудь оно произойдёт и когда-нибудь, но произойдёт непременно – вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушённый взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом – скрываемое предчувствие. Где-то верёвочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьётся и слишком счастливо, – и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговорённому.

Вот, собственно, о каких своих опасениях – ни о чём другом – поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки Смерш, когда тот его пригласил на собеседование, или – как говорилось у него – «кое о чём посплетничать». «Только вот что, – сказал он Сиротину, – в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше – в другом каком месте. И пока – никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недалёком от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб с красной полоскою от околыша, – чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе – Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

– Давай, выкладывай, – сказал он, – что тебя точит, о чём кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется...

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

– Ничего, ничего, – сказал он без улыбки, потряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, – это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверия подвержены, не ты один, командующий наш – тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговорённый. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился – восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сём присутствовал. Я думал, у вас всё нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?... Слушай-ка, – он вдруг покосился на Сиротина весёлым и пронзающим взглядом, – а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

– Чего мне утаивать?

– Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты – ничего?

Сиротин подёрнул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную ещё опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков

смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, – место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

– Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, – сказал майор твёрдо. – Только факты. Есть они – ты обязан сигнализировать. Командующий – большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напречь, поддержать его, если в чём-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кушать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего – что и говорить...

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский Смерш, в глазах которого генерал в чём-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», – так он, стало быть, не звон отдалённый слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем ещё не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их ста-

новился всё более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чёртовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев – им лень, придётся генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать – теперь носы затыкайте...

– Ты мне вот что скажи, – спросил майор Светлооков, – как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивлённый взгляд.

– Как все мы, грешные...

– Не знаешь, – сказал майор строго. – Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчёркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе – ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережёт? С отчаяния какого-нибудь, со страха, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени – операция оч-чень всё-таки сложная!...

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлоков, могли быть иные соображения.

– Может быть, единичный случай? – размышлял между тем майор. – Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперёд дивизионных, а комдиву что остаётся? Ещё поближе к немцу придвинуться? А полковому – прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или ещё пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортёра, даже радиста с собой не берёте. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же всё предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой – в первую очередь.

– Что ж от меня-то зависит? – спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходиллся с его собственными опасениями. – Шофёр же маршрут не выбирает...

– Ещё б ты командующему указывал!.. Но знать заранее – это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иванович минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомлённости, но возразил:

– Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь

говорит.

– Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трёх-четырёх хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего. Вот у тебя и возможность созвониться.

– С кем это... созвониться?

– Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать всё как есть. Так это одно другому не мешает. У нас – своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иванович нагрянет, лишь бы мы знали.

– А я-то думал, – сказал Сиротин, усмехаясь, – вы шпионами занимаетесь.

– Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придётся ему сообщать скрытно от генерала.

– Это как же так? – спросил Сиротин. – От Фотия Ивановича тайком?

– У-у! – прогудел майор насмешливо. – Кило презрения

у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

– Не знаю, – сказал Сиротин, – как это так можно...

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

– И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был – куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне не думая пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик – первые друг другу помощники. Теперь – больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну, а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом – тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но – не снял её!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, – всё складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

– Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдёт. Нет, это...

– Что «нет»? – Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. – Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка ме-

ня с майором Светлооковым из Смерша»? Не-ет, так мы всё дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле – по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчинённых барышень.

– Что, не объект для страсти? – Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. – Вообще-то на неё охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим – не в этот год, так в следующий, – там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, «кармелитки» называются, клятву насчёт девственности дают – до гроба. Во какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую – не ошибёшься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесаясь почему-то с карамельками, выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, всё-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

– Зер гут, – согласился майор. – Избираем другой вариант. Как тебе – Зочка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумлённый – маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, – и ловко пригнанная гимнастёрка, расстёгнутая на одну пуговицу, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках – всё было куда поближе к желаемому.

– Зочка? – усомнился Сиротин. – Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

– У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется – супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придётся какие-то меры принимать... Так что Зочка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И – звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофёра командующего? Дело ж понятное, можно сказать – неотложное. Ты только – понахальнее, место своё в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» – и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трёпом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе ещё не ясно?

– Да как-то оно...

– Что «как-то»? Что?! – вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осер-

чать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он в сердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком — звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съёжиться и ощутить холодок внизу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво — звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное — и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей чёрной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось — человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бро-

сался в рукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулемётной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол – и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне – как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали – бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятым взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортёра, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нём неотлучно? Но вот нашёлся же один, кто всё понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечёт их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведёт он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору,

рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учёл в каких-то своих расчётах.

Майор его слушал, не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув её, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под жёлтым целлулоидом.

– Так, – сказал он, – на этом покамест закруглимся. Нака вот, распишись мне тут.

– Насчёт чего? – споткнулся разлетевшийся Сиротин.

– Насчёт неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

– Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.

– Тем более, чего ж не расписаться? Давай, не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклонённым влево.

– Тезисы, – пояснил майор. – Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдёт беседа. Видишь – сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвёрдыми пальцами.

– И всего делов. – Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул её за спину и встал. – А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

– А кстати, – майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, – раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю – про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую – вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И всё, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдёт. Как вдруг – ты представляешь? – чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

– А я так думаю – пора эту войну кончать. Скорей по домам – своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их

увидеть вместе, он снова остановился.

– Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чём мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты всё обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом – в последние дни тот сиднем засел в своём убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его всё реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нём у майора Светлоокова, может стать, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

– Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

– Какую девку?

– «Какую»! Зоечку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

– Так ведь... об чём говорить пока?

– Вот, ещё научи его, о чём с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошёл, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и всё же позвонил, позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упрёки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ничуть, Зоечка его моментально узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучшить минутку и взглянуть.

Он шёл к ней робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зоечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках,

она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полушёпотом, хотя и с улыбающимся лицом:

– Ты что ж это делаешь, недотёпа! Сначала приходят, а уж потом звонят. А ты всё наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зоечку». Какая я тебе Зоечка, если нас вместе не видели? Вот тебе – первый прокол!

– Так мне ж так майор сказал, – стал оправдываться Сиротин.

– Тише ты, дурень. Так, да не так, – прошипела Зоечка, но тут же, однако, смягчилась. – Пройдёмся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зоечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зоечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.

– Ну что, так и будем по одному месту кружить? – сказала Зоечка. – Хоть бы увлёк меня куда-нибудь.

– Куда? – спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

– Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за пле-

чо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зоечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

– Ты хоть не тискай...

– Так чо, убрать? – спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дёрнула плечиком. Несколько погодя взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

– Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. – Ещё погодя, сбросила его руку совсем. – А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги задумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовётся *вторым эшелом*. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завёрнутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюблённую пару усмешливыми взглядами. Зочка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полёживавшие на травке возле своих счетве-

рѣнных пулемѣтов, белыми животами к солнышку, тоже их видели – они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетвѣрки»; ремонтники, в чѣрных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, но далеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой жѣлтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачиха в клеѣнчатом мясницком фартуке, заляпанном ржавыми потѣками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному еѣ лицу пробегала улыбка – когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому, осваивали тяжѣлый

немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплёскивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастёрке.

Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно – то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды – от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зюечка предложила:

– Ну всё, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зюечка, усевшись на неё, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

– А ты... давно с ним? – глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

– Что – «с ним»? – Зюечка поглядела на него поверх носа, отчего её лицо сделалось надменным. – Живу, что ли?

– Работаешь, – смущённо поправился Сиротин.

– Надо ясно выражаться. Ты что думаешь – тут всё вместе

может быть? О, нет! Работать и спать – две вещи несовместимые.

– Это почему ж так? – он искренне удивился.

– А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого – не нужно. С тобой – характер другой. Но мы же ни к чему такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя – моя.

– Тем более, что у тебя другой есть. Покуда жена далече. В Барнауле, – съязвил Сиротин, сам немного уязвлённый.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни – голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.

– Ах, этот... – сказала Зочка небрежно, однако матово-белые её щёки стали медленно розоветь. – Это была ошибка. То есть, в общем... это тоже была работа. Его одно время подозревали.

– В чём? – Сиротин опять подивился: в чём уж таком могли подозревать майора Батлука. Разве что в уклонении от алиментов трём семьям.

– В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, – добавила Зочка со значением и загадочно помол-

чала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она всё же посвятила воспоминанию о своём певучем майоре. – Я смотрю, ты всё знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только сомнений много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе всё равно всё переменится.

– Как это?

– А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, боевые подруги. А там вы себе баб найдёте каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом плане должно быть дело. А романы – побоку.

Ему тоже – наверное, впервые в жизни, – говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

– И что тебя потянуло... к этой работе? – спросил он угрюмо.

– А что? – Она улыбнулась мечтательно. – Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести... Ты об этом не думал?

– Я думал, каждый, куда его поставили, пускай своё делает как следует. И того с головой хватит.

– Ну, а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. При-

ложение к коммутатору. Ты тоже приложение – к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Ещё не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать – терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

– Он мне совсем другое говорил, – сказал Сиротин растерянно.

– Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним... работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек – это, ого, как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну, а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

– При чём тут вкус? – сказал он, нахмурясь. – Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал...

Зюечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро её лицо сделалось серьёзным.

– Ну, кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней всё остальное чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.

Он уловил в её голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещенные ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие клочья паутины и напевала вполголоса:

Дует тёплый ветер, развезло дороги,  
И на Южном фронте оттепель опять.  
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

...Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобождённую Прагу и фотографируясь в группе друзей-смершевцев на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но всё острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у неё *проявилось вкуса*, что её даже выдвинут в столичный *аппа-*

рат; затем, когда надобность в её ретивости несколько убавится, и Зоечку выставят за порог аппарата, и ей придётся избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день всё чаще и чаще в чужом для неё городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве, – потому что вершить их составляет единственное её призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабёнку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, – поэтому в качестве расторопной хитрой судыхи, ценимой за её талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать – опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отёчными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, – вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды чётко сформулирует: «Он был в меня влюблён!» – после чего ей всё больше будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался её единственной, хоть и неизречённой, любовью...

Зоечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнём с портупеей.

– Мне пора, – сказала она, тряхнув прелестными пе-

пельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. – Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?

– Говорил.

– Я кое-что там разработала, к завтраму закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зоечке с азартной самонадеянностью здорового парня – что наперекор всякой *работе* у них вполне может наметиться что-то другое, – и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чём она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и её вытащить – вот с чем он решил прийти к ней и объявить напрямик.

А назавтра – и случилось вот это, всё преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако ещё одна встреча была у них с майором Светлооковым – последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.

– Вот, отбываем, – сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. – Выходит, служба наша кончается?

– Знаю, знаю, – ответил майор. – С богом, как говорится...

А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.

Перебирая всё это в памяти – сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, – Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала – который ведь был ему не чужее этого майора Светоокова и чёртовой этой Зоечки! – признайся он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивлённый и брезгливый взлёт генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше – для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого – ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую её часть не нагрузил бы ещё тяжелей, не навалил бы ещё большее бремя. И ещё одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вёл ты себя, что бы ни говорил, какой бы

малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.

## 2

И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый ещё ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики – крохотный уголок земли, по которому война прошла безобидно, – а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, – вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трёхцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала – как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, – именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил

и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют – его усталой, но и чёткой походке, его полинялой гимнастёрке с неяркими полевыми погонами, его утомлённым, но и спокойным глазам, повидавшим всё то, о чём они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти – никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, – но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба теперь зависит от них – штабных, тыловых, завидующих.

В приёмной, обшитой дубовыми панелями и светло-зелёным линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный – не ниже полковника, – принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В тот же час, когда за двойными дверьми *того* кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская – в просторной бело-кафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы – и ещё одна общая, малахитовая,

на огромном низком столе чёрного дерева, – и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чём не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна – и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно – скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной!» – и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!». С портсигара только начать и тут же его упрятать смущённо – баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчёт генерала, намёками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет её – не пожалеет. Чего в принципе хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький

хлеб. Конечно, остаться *здесь* он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать... но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы – *стать на бригаду*, не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача – и всего час на неё, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается наконец, что там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придётся покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упёршееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала – за то, что в своём грехе или в своей ошибке не принимал в расчёт участь его, майора Донского, всегда вынужденного примазываться обочь и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо *делать свою игру*. Вспомнилось, кстати, как обошёл его генерал наградой за форсирование Десны – и как ещё обидно обошёл! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который ещё не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а пе-

реправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и толковывал их батальонному, вконец замороченному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с лёгким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубаше, слушал насупясь, отхлёбывая молоко из кринки и шевеля пальцами босых ног, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? – хотя Донской говорил как раз обратное. – А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напomini завтра – в список его вставить». Получилось, рассказом о *своих* действиях Донской выхлопотал награду другому и ещё обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз – генерал всё отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напominiшь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже дней пять как ушёл в политуправление фронта и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашёлся пролепетать: «Это я и хотел проверить», – и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.

Из тёмного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотою от воротника, и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчился, поскольку приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Ну хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники – на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское...

То было маленькой тайной адъютанта – ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было – откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза – буркалы, не поймёшь даже, какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хам-

ство». Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему бы и ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чём, в его летах – слегка за тридцать – командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышней генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлён, он, пожалуй, не сплеховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался ещё при своих звёздах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.

Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня по-божески, с другим побольше было бы гону... но ведь побольше и славы! Ты и сам звёзд не нахватал, и мне на грудь – одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, всё-таки – плацдарм, там время по-другому течёт, за один час трое суток следует засчитывать. И при этом ещё глазом не моргни, в позвоночнике не согнись, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука – вперёд цени людей по достоинству.

Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня – невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность *замечать* надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из Смерша, тот заметил: «Хорошо держишься, Донской, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил – и прямо Фотию в глаза». Всё же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишён, хотя, разумеется, дубина. Пар – это как раз для него, а настоящий аристократизм – о, это совсем другое!..

Как ни мечталось майору Донскому *стать на бригаду*, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нём свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и его любила чуть не главная героиня, определённо вселяло гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и по «тихому мерному шагу» их достижения уже примерно сравнивались, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, прав-

да, и на немецкий «перейти по привычке» не выходило, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами – «с спокойной властью в голосе» и вот в особенности «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать, чтобы со стилем всегда выходило гладко, всё-таки князь Андрей умел здорово его варьировать: с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал»; у Донского это либо выходило невпопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся «неприятный смех», как бы это сгодилось при случае! Но, сколько он этот смех ни культивировал, а выходило либо наоборот, даже ещё приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо уж так фальшиво, что взглядывали с опаской – не рехнулся ли. И вообще, обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-м.

Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкою был для Донского – хотя бы стран-

ным своим воздействием на генерала, да и всей своей не­постижимо стремительной карьерой. Донской его знавал стар­шим лейтенантом, командиром батареи тяжёлых гаубиц – должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офи­церы гибнут чаще солдат, поскольку свои НП<sup>3</sup> выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлооко­вым такого красивого случая не произошло, но корректиров­щик он был грамотный, славился быстрым счётом и изобре­тательностью. Как-то, застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь одно­спальные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления, говорил задушевно и романтич­но – о том, что никогда ещё не жил такой наполненной жиз­нью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких по­зиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефон­ной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горячего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся ещё с пол­фляжкой, к некоторому даже удивлению Донского: на пере­довой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как

---

<sup>3</sup> Наблюдательные пункты.

он вёл себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же *разбирающийся в литературе*. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улёгся на полу, головою под столик, говоря, что так ему даже лучше: для головы – не лишняя защита.

Этой весной, когда стали организовываться в армиях отдели Смерша, брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих не много нашлось, большинство уклонилось; не уклонился, для всех неожиданно, старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что «надо же и отдохнуть от грохота», другим – что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим – совсем коротко: «Родина велит». Месяца через два-три и правда он возвысился в звании, даже, сверх ожидания, перескочив капитана; новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато: в малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлокхолмства, он появлялся то в форме сапёрного капитана, то лейтенанта-лётчика, но чаще – всё же майора-артиллериста.

Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве – ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях – прежде легко расходились. Ещё и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины», а как набралась солидная подборка, послал её на отзыв Илье Эренбургу и получил определённое «добро», вкуче с советами учиться побольше у классиков – Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели – «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова», – и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:

– А придётся ещё Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.

Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдёт до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:

Мы идём, любимая, в беспощадный бой,  
Чтобы в дни победные встретиться с тобой.  
С этой думкой радостной седлаю я коня.  
Милая, хорошая, не забудь меня!

– По линии рифмы, – говорил генерал, – претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый... беспощадный-то бой – пешим ходите или конным? Потом – вот они уже идут, а вы ещё только седлаете...

Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белёсых волос.

– Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.

У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.

И всё же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, однако он неумовимо пасовал перед вчерашним старшим лейтенантом, а тот неумовимо, всё раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; должность его была – «уполномоченный контрразведки при управлении армии», но что значило это – наблюдает ли он за людьми штаба? или выше того – контролирует штабную работу? Пере-

двигался он вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное и с надёжными замками. Стал являться и на Военный совет – задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала по своей, артиллерийской, части, попозже – с накоплением оперативных познаний – и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией, и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского Смерша, полковник, не пресекал его любопытства: может быть, гордился такой дотошностью своего подчинённого, а могло быть, что подчинённый обрёл над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал – сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда – всем ясно». Но – как ни смешно было предположить – не от него ли сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы частой причины туда являться?

С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, ранним летом, бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни, – велел генерал, – кто там кого за причинное

место ухватил», — выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась ещё до прибытия Донского, и генералу уже обо всём доложили, Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных...

Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с ещё краснеющими не впитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Всё же он туда направился — повинувшись общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, — но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгорячённых, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нём, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг отчего-то понял, догадался, что она не понадобится, *эти немцы* его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть

на немецкий манер засучены рукава и расстёгнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой всё более расслабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чём спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса – со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного – оправить под ремнём гимнастёрку – он продолжил другим движением, безотчётным и которого не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, – и увидел, как застыли напряжённо их лица в начале этого жеста и расслабились – в конце. И от этого ещё больше он растерялся и не знал, что делать.

Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков – невесть откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу.

– Что ж оружие побросали, земляки? – спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с лёгким упрёком. – С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так – и не поймёшь: может, у вас его из рук выбили. Тогда – не считается, что сдались добровольно...

Лёгкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков в тот день был чином капитан, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастёрка американского жёлто-зелёного габардина, почему-то в нём признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его весё-

лой улыбке.

– А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же переводчиками? – Никто соврать не решился или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг. – Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут, – не-ет, это не дело!.. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная – и молчим. Самое время поговорить... Смоленские среди вас есть?

Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды.

– Гляди, понимают. – Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому. – А среди вас, герои? Нешто смоленских не найдётся?

Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоти и в поту, с ярко блестящими белками глаз, в которых ещё доцветали злоба и азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбадрывающе похлопал по плечам. Нашлись, с той и другой стороны, и калужские. Также и воронежские. Всё больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь её, хоть и догадывался уже, к чему она приведёт.

– Что ж, поговорите, земляки с земляками, – сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. – Во-он в тех кустах...

Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды плен-

ных, повернул всё лицо к Светлоокову. И, понимая, как он сейчас бессилен, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а всё же переступая, переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиною.

— Куда торопишься? — спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. — Их допросить нужно... назначить конвой...

— Так я же и назначил, — удивился Светлооков. — Ты разве не слышал?

— Я не это имел в виду...

— Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, покуда ребятки горячие, с боя не остыли.

Всё же у Донского ещё было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что приказать, и как этого Светлоокова всё-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там, за его спиной, рванулся бежать, слышались топот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие — и затем звенящий, убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице — так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.

— Там двое раненых, — сказал Донской с запоздалым слабым упрёком.

Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно.

– Вылечат их. Уже вылечили.

Всё так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым подёргиванием плеч выказал ему всё презрение, какое чувствовал к себе. И медленно побрёл прочь.

Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да ещё так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось – самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? – мгновенно рассвирепев, закричал генерал. – У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооружённый мужчина жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не выказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.

– Видишь ли, в чём дело, Донской, – сказал он после долгого молчания. – Они, как бы сказать... не пленные. Конечно, нехорошо это – в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше так. Чем ещё суток десять трибунала ждать, да потом вся эта церемония... По мне – так лучше сразу...

Донской, обретя уверенность, осмелев возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевым пафосом – о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чём их вина перед родиной и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях, – ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты всмерть добивал сапёрной лопаткой или каской, – то было в бою, не ты его, так он тебя, – но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю и до конца жизни будет

маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана...

– Не дана, – глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел, не отрываясь, в окно. – И ты вот что, братец... мне обо всём этом докладывать необязательно.

Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нём слова, обращённые к генералу: «И ты такой же», – что-то не слишком определённое, в чём были и понимание, и сочувствие, и лёгкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже – вооружённые мужчины.

А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, всё не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас есть?...»

Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:

– Охота мне, майор, с тобой посплетничать.

– Здесь? – почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.

– Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте.

Странным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалёку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И ещё неприятно покорибила эта его уверенность, что Донской придёт, куда ему укажут. В довершение всего он ещё выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:

– Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?

Для таких случаев князь-Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон, – для этого следовало соорудить на лице выражение, которое Донской мог бы сформулировать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны».

– Простите, – сказал Донской с таким именно выражением, ещё усиленным холодностью тона, – как вас по имени-отчеству? Не имел до сих пор чести...

– Николай Васильич. Как Гоголя, – ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. – Садись, потолкуем.

Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как

сделал он, и не расстегнув воротника.

– Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?

– Что вы имеете в виду? – Донской всё же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». – И где именно «происходит», как вы изволили выразиться?

– Ты чо это ершишься? – спросил Светлооков весело. – Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на «ты», мы вроде одноклассники и в чинах одних. – Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. – Нагни-ка мне веточку.

– Какую веточку?

– Какая тебе понравится.

Донской, подёрнув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил её и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.

– Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же торричеллиева пустота?

– Я попросил бы!.. – сказал Донской, вытягиваясь. – Я попросил бы вас о командующем...

– Брось, – перебил Светлооков. – Тут тебя не слышат. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?

– Всё возможно. Командующий наш – человек масштабный.

– Чепуха, – отрезал Светлооков. – Кто о Предславле не мечтает, не кланчит у Ватутина<sup>4</sup>, чтоб позволили взять? И масштабные, и не масштабные – все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь горяченького – а не проглотишь. Силёнок-то у Фотия и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно? Считай, три недели армия топчется возле вшивого городишки.

– Простите, – Донской опять подёрнул плечами, – не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.

– Меня всё интересует. Потому тебя и позвал.

– Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные.

– Это когда они есть, документы. А когда их нету, ещё не составлены? Как тогда?

– Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.

– Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путём не добьёшься. Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, чего он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал – ни в армии, ни в штабе фронта, – куда танковая колонна делась,

---

<sup>4</sup> Генерал армии Н.Ф. Ватутин – в описываемое время командующий 1-м Украинским фронтом.

шестьдесят четыре машины! Один он знал, да распорядиться не мог. Во даёт! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. – Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: – А ты тогда – знал про эти танки, куда он их погнал?

– Ну, предположим...

– Знал всё-таки?

– Простите, – сказал Донской, не отвечая на вопрос, – а что, у нас, в Тридцать восьмой армии<sup>5</sup>, секретность подготовки отменена?

– Секреты секретами, а если б что случилось? В одном «виллисе» ездите, всех поубивало – с кого тогда за танки спросить?

– Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта.

– А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки Тридцать восьмой армии, ответить не мог. То же и Хрущёв<sup>6</sup> – ни бэ ни мэ.

– Что ж, бывают у командующего и странности.

– Дурь наблюдается, одним словом?

– Ну, если вам угодно применить такой термин...

– Дурь – это хорошо, – перебил Светлооков. Он говорил:

---

<sup>5</sup> Номера частей, соединений, объединений (38-я армия и т. п.) – конечно же, условность.

<sup>6</sup> Генерал-лейтенант Н.С. Хрущёв – Первый член Военного совета этого фронта.

«храшо-о». – Дурь, она способствует украшению генеральского звания. – Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию *метких фраз*. – Только что у него ещё имеется, кроме дури?

– Знаете, не могу поддерживать в таком тоне...

– Брось! – сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. – Ещё раз говорю – брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы твоим умом живут – штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет да подскажите ему чего-нибудь путное. Да ещё внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмёт.

Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно. И всё же если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший стиль требовал возразить.

– И вы не делаете исключения для генерала Коббрисова?

Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.

– А почему это для него исключение? Имеются и погромче командармы. Ты присядь-ка, – он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему, подчинился. – Что у тебя за преклонение такое? Да в твоём возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют.

А то и дивизиями.

– Умишком, значит, не вышел.

– Умишка тут много не требуется. А просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет... Я-то вот – безусловно тебя оценил.

Сердце Донского ощутимо дрогнуло. Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвёл выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной её проницательности, и вместе с тем испытывал некую почти-тельную робость перед ним самим, – которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.

– Вы сказали – «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело...

Светлооков опять хлестнул по сапогу – точно с досады.

– Всё ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.

– Предпочёл бы всё-таки, чтоб было чётко сказано...

– Скажу. – Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. – Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться – может, последняя в жизни. А мы тут чёрт-те чем занимаемся, интригами... А

ты вправду не знаешь, что он там решил насчёт Мырятина? Брать его или обойти?

– Не знаю.

– Ни слова при тебе не говорил?

– Не говорил.

– Верю. И вообще знай – мы тебе верим. Ну, если скажет что про Мырятин – я про это должен знать. Сразу. Буквально через час.

Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано – и оставленная позиция уже почти невозвратима.

– Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

– Я-то понимаю, – сказал Светлооков, – ты пойми. Мы Кобрисова терпим, всё же у него заслуги имеются. Может, я тут кой-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним слеживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесёт. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется... не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих... ну, репрессированных.

Донской, со строгим лицом, важно кивнул.

– Знаю, – сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нём явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!»,

словно бы подтвердились его догадки, и всё наконец стало на свои места. – Но ему же как будто простили?

– А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», – нет, он вокруг себя сто раз перевернётся, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин – это шестёрка, это его не устроит, а там – туз козырный, как минимум две звезды – и на погон, и на грудь. А вдуматься – это же карьеризм чистый, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало, ещё талант нужен. И учёт сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он всё хочет единолично. Не получится это – одному банк сорвать!.. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись – тот для нас уже пропащий. Но – где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя – помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь...

– Как я понимаю, – сказал Донской, сочтя уместным сделать шаг к оставленной позиции, – одних ваших сил недостаточно?

Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением.

– Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? Мо-

лодец, майор, научился цену себе набивать.

Донской обошёл эту похвалу, не подобрав её.

– Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш Смерш или что-то другое?

– Одного Смерша мало тебе?

– Я только уточняю.

– А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес – дорожка назад труднее.

Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха – от возникающих перспектив.

– Бутылка вскрыта, – сказал он игриво, – надо пить вино.

– Это пожалста, – сказал Светлооков добродушно. – Хотяин – барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. – И тут же быстро нахмурился. – Теперь понимаешь, что разговор у нас – смертельно секретный? Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофёр Фотия, ни ординарец чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.

Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой – от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоокова отказом.

Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом:

– Понимаю, всё сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.

Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.

– Знаю, тебя не надо. Всё торопишься, майор... Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего – съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнёт – ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши есть?

– Попрошу в штабе.

– Вот это не надо. Эх ты, стратег... На, держи. Всё понял? Ходить ко мне, звонить – не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека – для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной дело иметь. Потому что тут всё важно, мелочей в нашем деле нет.

Пряча карту – торопливыми и неловкими движениями, – Донской неуклюже пошутил:

– Теперь буду знать, как становятся агентами.

Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застёгивает сумку, сказал сухо:

– Успокойся, ты ещё не агент. До этого много воды утечёт.

– И только тогда, – спросил Донской в том же своём тоне, – последует награда?

Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты.

– Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим – это когда с нами торгуются.

Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу – вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.

Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами.

– Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть, выслушай. Значит, такой сюжет – всю ночь я с бабой барахтаюсь. Не то что она мне не уступает, а – вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И, значит, только-только я позицией овладеваю, ещё не овладел, но к первой линии определённо пробился, все заграждения преодолел – и надо же! Оказывается, не баба это, а мужик! Что за плешь?

Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумлённые глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то болезненное, зверино тоскливое.

– Не объяснишь мне? – спросил Светлооков печально. – К чему бы это, а?

Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил

брезгливо:

– Н-не знаю...

– Жалко! – Светлооков ещё подержался за его портупею, поцокал языком и вздохнул. – Ну, тогда разойдёмся. Счастливо! И кто ж мне это всё объяснит?

Говорилось ли это всерьёз или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только ещё усилилось. «Чёрт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» – рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан – мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.

Ещё об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой – о том, как впервые после той встречи в леске он вошёл к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребёнка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в чёрной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напряженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчётливо почувствовал странное своё превосходство над ним – превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? – и, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он *имел доступ*, он знакомился с *делом*, он проник в подноготную, – может быть, прочёл, какие применялись на допро-

сах меры воздействия к подследственному и как тот себя вёл, – вот в чём была его власть! Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице – как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше...

Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздёрнул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую стрелу – так резко, что сломал карандашный грифель.

– Ах ты... – он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик. – Ножичка нет – очинить?

Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш – и помертвел, встретив удивлённый, поверх очков, взгляд генерала.

– Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!

То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.

Впрочем, он по ней прошёл не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не от-

пускал и никому смотреть на неё не позволял.

И Донскому пришлось испытать чувство унижительное, когда Светлооков, против их договорённости, вдруг сам подошёл к нему в столовой – только, впрочем, спросить вполголоса:

– Насчёт Мырятина есть решение?

– Нет, – быстро ответил Донской, косясь по сторонам.

Но людей из штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, отоваривали свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.

– Так я и думал, – Светлооков кивнул удовлетворённо и даже с каким-то торжеством. – А чем он вообще занимается?

– Читает Вольтера.

– Что-о? – У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.

– Я не шучу – Вольтера.

– Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, – он кивнул на корреспондентов, – непременно вставят в свою писанину. А мне бы – чего посущественней. Если будет. Хотя – навряд ли...

Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нём, Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках Ставки всё-таки имели какое-то основание?

...А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым про-

мозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, – к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к тёплой постели с чистыми простынями, а перед тем, чёрт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся всё-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти три дня всё равно пойдут на пользу – рыжая Галочка из поарма<sup>7</sup>, которая всё ещё колеблется, непременно спросит, как он провёл их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать...» А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомлённо: «Москва – живёт!»

Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчётами на новое назначение, но обращался он всё же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он ещё вернётся. «Со щитом, – прибавлял он, – непременно со щитом!»

Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»

---

<sup>7</sup> Политотдел армии.

# Глава вторая. Три командарма и ординарец Шестериков

## 1

Что же мог думать о Ставке третий – ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он её себе представлял – скуластый крепышок с лычками младшего сержанта, с замкнутым лицом, жёстко обтянутым задубевшей кожей, со складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на невесёлой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась – в кремлёвской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные; ему, Шестерикову, она хорошо не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться – ни за что ни про что. Заведомо все неприятности, готовые пасть на эту сидящую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и взаправду, хоть и без видимых слёз, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.

Скорчась в тесном углу «виллиса», он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твёр-

дыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но всё было ничто в сравнении с тем сознанием, что лучшее в его жизни – кончилось; то, что делало её осмысленной и стоящей страданий, – теперь уж невосвратимо.

И, как перебираем мы в памяти первую любовь, давно отлетевшую от нас, – день за днём, всё ближе к сладостному её началу, – так угрюмый Шестериков приближался к тому морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали ко встрече, и ещё столько потом сплести событий, чтоб не показалась им эта встреча случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу своё удивление по этому поводу, и вот что ответил генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе поучаствовали». Ну, двоих-то из них Шестериков так и не увидел, а лишь своего командующего, Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком щей и с кашей в крышечке – для старшины своей роты.

За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к армии, стоявшей на Московском полукольце обороны, – рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и погибнуть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло –

и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина роты сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в избе под кожушком, глядя в потолок, – и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, и это ему вышло как наряд вне очереди, – и, Господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко – в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, – а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашён на коньяк, и не на какой-нибудь – на французский.

Он ещё и не обосновался в той избе, и комната его пуста была, из хозяйственных вещей оставили один топчан, всё вынесли, а письменный стол из штаба ещё не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу – от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.

Только подключили аппарат – заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.

– Рад тебя слышать, Свиридов, – сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали полгода, от самой границы. – Опережаешь начальство, в принципе я тебе должен первым звонить<sup>8</sup>. Как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.

---

<sup>8</sup> Генерал имеет в виду, что связь в войсках устанавливается от вышестоящего к нижестоящему.

Свиридов спросил, с чего это он больше других беспокоит.

– Как же, ты у меня крайний. Локтевой связи справа у тебя же нет ни с кем.

Свиридов подтвердил, что какая уж там локтевая связь, правый сосед у него – чистое поле.

– Должна ещё бригада прибыть, – сказал генерал. – Из Москвы, свеженькая. Вот справа её и поставишь, я её тебе отдаю.

Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дать, что имеешь, а не то, что обещано.

– Рад бы, да сам пока обещаниями сыт, – сказал генерал. – Ну, докладывай. Может, чем утетишь...

Свиридов его утешил, что к нему на участок обороны прибыло пополнение – два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели, одним словом – интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоскостопных много, – а вооружил их Осоавиахим учебными винтовками, с просверленными казёнными, со спиленными бойками, выстрелить – при испепеляющей ненависти к врагу и то мудрено, только врукопашную. Ещё у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать – пусть не далеко, но хоть не под ноги себе. Знакомят некоторых, кто посмышлёней, с миномётом – мину они опускают в ствол стабилизатором кверху, но, слава богу, забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.

– Ясно, – сказал генерал со вздохом. – Но настроение, конечно, боевое?

Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад, говорят, не ступят, позади Москва.

– Ясно, – сказал генерал. – Пороху, значит, совсем не нюхали. Но это же ещё не всё, Свиридов, должен же быть заградотряд.

Верно, Свиридов подтвердил, заградительный не задержался, прибыл батальон НКВД, да только он расположился во второй линии, за спиной у ополченцев, так что фронт растянуть не удаётся.

– А в первую линию ты их не приглашал?

– Как же, – сказал Свиридов, – ходил к ним, предлагал участок. Комбат отказался наотрез: «У нас другая задача».

– А ты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?

Да, Свиридов их обрадовал.

– И как отнеслись?

– Обиделись даже. А мы, говорят, бежать не собираемся.

– Правильно, – сказал генерал. – Назад не побегут. Что у них за спиной не одна Москва, а ещё заградотряд имеется, это они не забудут. Поэтому, как немец напрёт, они в стороны расползутся. И придётся тогда уж заградотряду принять удар. Всё хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкавэдистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда. В случае чего они друг дружку перестреляют.

Свиридов помолчал и спросил:

– Не приедете поглядеть, как мы тут стоим?

– Да что ж глядеть... Хорошо стоите. Не сомневаюсь, ты всё возможное сделал.

– Тем более, – продолжал Свиридов голосом вкрадчивым, – есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Cognac. Парле ву франсе?

– Что ты говоришь! – Генерал сразу взвеселился. – Ах, проказник!.. Где ж добыл?

– Противник оставил. В Перемерках.

– Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-яй-яй!

Но кроме «ай-яй-яй» упреков Свиридову не было. Оба же понимали, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдёт – а ну, как эти чёртовы Перемерки отдать придётся? С тебя же, кто их брал, голову свинтят.

Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развёрнутую карту и, глядя в неё, опять трубку взял.

– Свиридов, тут их двое, Перемерок – Малые и Большие. Ты в каких?

– В Больших, Фотий Иванович, в главных. Малые пока у него.

– Ты это... не финти, ты мне скажи чётко: выбил ты его или он сам ушёл? Я тебя так и так к награде представлю, только по правде.

– Да как сказать? Желания у него особого не было за них держаться. Ну, и я со своей стороны помог. Во всяком случае – коньяк он забыл. Аж четыре ящика, представляете?

Генерал опять положил трубку, успокоился и снова взял.

– Знаешь, Свиридов... Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а нравится. А может, он это... отравленный?

– На пленных испытали.

– Так ты и пленных взял? Ну, и как?

– Согрелись. Дают показания.

Генерал поглядел в карту совсем уже весёлыми глазами, уже как бы отведая того «привходящего обстоятельства».

– Слушай, а ты сам-то где сидишь?

– Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.

– Всё не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Ведь не люди они – устают...

– Так всё-таки ждать вас? Опять же, День Конституции страна отмечает...

– Разболтались мы с тобой, Свиридов, – сказал генерал построжавшим голосом. – День Конституции выдаём. А враг подслушивает. У тебя всё? До свиданья.

Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперёд по горнице, погуживая себе под нос своё любимое: «Мы ушли от пр-роклётой погони, пер-рестань, моя радость, др-ро-

жать!...», и стал против красного угла, разглядывая иконы.

– Это сей же час уберём, – поспешил к нему ординарец. – Это живенько!

– Зачем? – удивился генерал. – Чем они мешают?

– Мешают думать командующему, – тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. – Мысли отвлекают в ненужное направление.

Ординарец этот был, что называется, деланный дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад и ещё очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать: «С большим нашим пониманием!» – и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал велел ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.

Уже закипая, поджав губы недовольно, генерал разглядывал тёмные лики – Спасителя, великомученицы Варвары, Николы Чудотворца, – подержал палец над лампадкой, потрогал чёрное потресканное дерево киота.

– Вот это – как называется?

– Это? – Ординарец не понял ещё, что осердил генерала, и отвечал так же молодецки, с восторгом. – А это, Фоть Иваныч, никак не называется!

– Вот те раз! – даже ошеломился генерал. – Мастер их делал – может, три тыщи за свою жизнь, – и это у него никак не называлось?

– Ящичек – и всё.

– Тьфу! – сказал генерал. – Подай мне бекешу. А шинель свою – оставь дома. И чтоб к моему приходу знал бы точно, как этот ящичек называется.

И ординарец, всё понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел никогда.

Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения – с котелком и с крышечкой.

– Боец, подойдите, – услышал он голос с высокого крыльца, недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в избе, не ожидало, – так уже должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поёживаясь, подёргивая плечами, картинно при этом расставив ноги в бурках и утвердив руку на кобуре маузера.

– Слушаюсь, товарищ командующий! – Шестериков подошёл резво и доложил по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он изумлялся, каким это чутьём признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а – командующего, и объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видал в кино у революционных братишек и комиссаров.

– Будете меня сопровождать, – объявил генерал, оглядывая серое небо. – Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас...

Сердце Шестерикова стронулось и сладко покатилося куда-то. Всё же он возразил, что связан приказанием – отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился, но внял, согласно кивнул. И произнёс волшебные слова:

– Валяйте. Я подожду.

С этими словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.

– Я по-быстрому, – обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «валяйте».

– А сам-то пообедал? – спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же ответил: – Хотя ладно, там нас накормят.

С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб ещё пёхаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед на снег он тоже не мог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточки три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмёрзла. Там ещё когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока дела серьёзные предстоят, не под кожушкой лежать, считать тараканов на потолке. На его счастье, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, её насмешить. Шестериков напал на них диким коршуном и с ходу распатронил, отобрал два тяжёлых диска, а взамен от-

дал свой неполный, заодно и обед им вручил – с приказанием *от имени командующего* доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он снова пред генералом – и в самое время успел: в заиндевавшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нём чей-то обиженный и завидующий глаз – поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. И ещё подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, – хотя и не верил Шестериков ни в понедельник, ни в число 13-е, ни в чёрного кота, но верил в порчу и сглаз.

– Уже? – спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового к чёрту в зубы идти. – Ну, потопали.

И так-то они – хрум-хрум – начали свой путь по снежку: генерал – впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков – приотстав шагов на восемь. За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшновато, но генерал шага не убавлял, что-то его изнутри грело и двигало вперёд.

Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушёл под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно виднелась – со склона в низинку и опять на бугор, так что – хрум да хрум – шли уверенно, и солнышко, хоть и туманное, а бодрило, а леса поодаль, хоть и чёрные, а не пугали неизвестностью. Поле и поле, Шестерику было не привыкать. Да всё ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало тер-

петь, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков стеснялся при генерале, но, видно, и тому мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то терпел.

– Не там хлопаешь! – закричал ему генерал. Всё же, значит, услышал. – Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное – не упустить.

Шестериков и не упускал, но в ногах-то ещё терпимо было, а вот душа заледенела.

– Большевистскую родную печать использовал? – спрашивал генерал, оборачиваясь с весёлостью и некоторое время идя спиной вперёд. – Газетку поверх портянок не намотал? А зря.

Так наставление советовало: читанное ещё раз использовать – против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другому делу, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала – разодрать на портянки.

Генерал про платок выслушал и развёл руками.

– Всё гениальное – просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.

Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.

– Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет – на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь,

километра четыре прошли уже?

По Шестерикову, так и все десять отхрумки, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.

– Ничего, потерпи, – утешил генерал. – Ещё пол-столька пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский коньяк пил когда-нибудь? Попьёшь!

Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительным образом вправо шагнул, хотя, отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево. Но, пожалуй, это уже потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетётся шагом, а зато круто набирала ход – география.

Они с генералом шли в Большие Перемерки – и правильно шли, а идти-то им нужно было – в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картою второпях не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, всё обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну, и то правда, названия сёлам сменить – это же сколько вывесок надо пере-

малевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие, в свой черёд, подтянутся, стекольный заводик отгрохают – и Малым, в Большие переименованным, опять догонять? А совсем другое название – откуда взять? Ещё и похуже выйдет – в Стеклозаводе каком-нибудь жить. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие Шкирятовом или Кагановичами, так ведь на все населённые пункты дорогих вождей не хватит...

Уже сумерки начали сгущаться, когда они с генералом дохрумкили наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало. Но как-то не торопились подскочить, доложиться. Генералу это понравиться не могло, он им ещё издали, шагов за полста, приказал сердито:

– Полковника Свиридова ко мне!

А встречные и тогда не зачесались. Переглянулись и отвечали со смехом:

– Карашо, Ванья! Давай-давай!

Генерал стал столбом и скомандовал Шестерикову:

– Ложись!

И только Шестериков упал, у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск – будто жареное лопалось на плите. Генерал, свою же команду выполняя с запозданием, повалился всей

тушей вперёд. Не помнил Шестериков, как оказался рядом с ним и о чём в первый миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался в липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.

– Товарищ командующий, – позвал он жалобно. – А товарищ командующий?

Генерал только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.

– Вот и бильярд! – сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. – Ах, беда какая!..

Но какая случилась беда, он всё же не осознал ещё. В голове его так сложилось, что это свои обозначились спяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении – страшное дело, когда им оружие попадёт в руки. И в ярости, чтоб их проучить, заставить самих повалиться на снег, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью – над самыми головами. Дуболомы залегли исправно и открыли частый огонь, переключаясь картавыми возгласами.

– Немцы, – вслух объявил Шестериков, то ли себе самому, то ли генералу.

И стало ему досадно, прямо до слёз, за те патроны, что он выпустил сгоряча без пользы. По звуку судить, штук двадцать пять ушло. Впредь этой роскоши – очередями стрелять – он себе не мог позволить. И решительно переключил флажок на выстрелы одиночные. Как по уставу полагалось,

раскинул ноги, упёрся локтями в снег, приступил к поражению живой силы противника. Впрочем, он не думал о том, скольких удастся ему убить или ранить, он был уже опытный солдат, и перед ним были опытные солдаты, и он знал, что, когда перестреливаются лёжа, на результаты ни та, ни другая сторона особенно не рассчитывает. Главное было – не дать им головы поднять, потянуть время, покуда они убедятся, что можно подойти спокойно и взять живыми. И, конечно, не мешало создать у них такое впечатление, что не один тут постреливает, а всё-таки двое.

Он вытащил генеральский маузер из кобуры и, держа впервые такую красивую вещь, сразу сообразил, как вынимается обойма. В ней было девять патронов; он перещупал коченеющими пальцами их округлые головки, беззвучно шевеля губами: «Один, два, три...» – а дальше шли пустые пять гнёзд, маузер был 14-зарядный. И, видать, генерал любил пострелять из него – для настроения, а может быть, и самолично кого в расход пустить, есть такие любители. Ну, что ж, подумал Шестериков, на то война, ему вот и самому захотелось парочку этих «дуболомов» срезать, едва рука удержалась. Только обойму-то надо ж было пополнить. В кобуре было место для обоймы запасной, но самой её не было. «Пару бы дисочков иметь в запас...» – вспомнил он с укором. Но и себя укорил – зачем отдал тем дружкам свой неполный диск, они до того своей девкой заняты были, что и не заметили бы, если б не отдал. И тотчас – с обидой, с зави-

стью – вспомнил саму деву, которую они наперебой старались насмешить армейскими шутками, вспомнил её разрумянившееся лицо, которое она, играючи, наполовину прикрывала пёстрым головным платком, – хорошо им сейчас в селе, в тепле, уже, поди, захмелившимся и напроочь забывшим о нём, который невесть по какому случаю лежит здесь в снегу, задницей к чёрному небу, перед какими-то чёртовыми Перемерками, бок о бок с беспмятным, безответным генералом, и перестреливается с какими-то невесть откуда взявшимися, как с луны прилетевшими, людьми. Но хорошо всё-таки, подумал он, что хоть дружки эти встретились, да с полными дисками, дай им там Бог время провести как следует.

Посмотреть, не всё в его положении было плохо, могло и хуже быть. Хорошо, что смазка не застыла и автомат не отказал в подаче, а теперь уже и разогрелся. Хорошо, что ещё маузер есть, с девятью патронами. Хорошо, что немцы не ползли к нему, постреливали, где кто залёг. Генерал тоже хорошо лежал, плоско, головы не высовывал из сугроба. Но одна мысль, тоскливая, то и дело возвращалась к Шестерикову – что уже с этими немцами не разойтись по-хорошему. Бывало, когда солдаты с солдатами встречались на равных, удавалось без перестрелки разойтись – какому умному воевать охота? Но тут – как разойдёшься, когда генерал у него на руках – и живой ещё, дышит, хрипит. И эти, из Перемерок, ещё при свете видели, кто к ним пожаловал, видели тёмно-зелёную его бекешу, отороченную серой смушкой, и

смушковую папаху – разве ж с этим отпустят? Убитого раздеть можно, одёжку поделить, а за живого – им, поди, каждому по две недели отпуска дадут. И сдаться тоже нельзя, стрельба всерьёз пошла, уж они теперь, намёрзшись, злые как черти! Его, рядового, они тут же, у крайней избы, и прикончат, а если ещё убил кого или подранил, то прежде умелят до полусмерти. А генерала оттащат в тепло, там перевяжут, в чувство приведут, потом – на допросы. И если говорить откажется – крышка и ему.

Он отъединил опять ту обойму и выдавил два патрона, чтоб сгоряча их не истратить. Эти два он заложит в маузер перед самым уже концом – пробить голову генералу, потом – себе. Всё-таки лучше самому это сделать, чем ещё мучиться, когда возьмут, избыют всласть, к стенке прислонят и долго будут затворами клацать – надо ж потешиться, перед тем как в тепло уйти. Сперва он эти патроны запрятал в рукавицу, но там они сильно мешали и слишком напоминали о неизбежном, и он их сунул за пазуху. Тут его пальцы ткнулись во что-то твёрдое и шершавое – это в запазушном кармане хранилась его горбушка, уже как будто забытая, а всё же – краешком сознания – памятная. Чувство возникло живое и тёплое, но сиротливое, опять стало жаль до слёз – что придётся вот скоро убить себя. Он подумал – съесть ли её сейчас? Или – перед тем? И почему-то показалось, что если сейчас он её сжуёт, тогда уже действительно надеяться не на что.

А надежда оставалась, хоть и очень слабая. Постреливая

одинокими – то из своего ППШ, то из маузера, – после каждого выстрела подышывая себе на руки и уже не различая, ночь ли глубокая или всё тянется зимний вечер, он всё же нет-нет да согревал себя тем мудрым соображением, что и противнику не легче. И когда женибудь наскучит этим немцам мёрзнуть на снегу, и плюнут они возиться с ним: за ради бекеша жизнью рисковать кому охота, а на отпуск – если генерал не живой – тоже можно не рассчитывать. Только вот уйдут ли в тепло все сразу? Народ аккуратный, оставят, поди, часовых и будут подменивать – хоть до утра.

Что-то надо было предпринять ещё до света, хоть отползти подальше да схорониться в каком-нито овражке либо снегом засыпаться. Генерала оставить он не мог, тот покуда хрипел, поэтому Шестериков, чуть отползя назад, попробовал его подтянуть к себе за ноги. Так не получалось: бурки сползали с ног, а бекеша задиралась. Он решил по-другому: толкая генерала плечом и лбом, развернул его головою от Перемерок и, на всё уже плюнув, привстав на колени, потащил за меховой воротник. Протащив метров пять, вернулся за автоматом – его приходилось оставлять, уж больно мешал. И, произведя выстрел с колена, в снег уже не ложась, поспешил назад к генералу – сделать очередной ползок.

Меж тем в Перемерках начались какие-то иные шевеления – огонь вдруг зачастил, крики усилились, и Шестериков это так понял, что к тем, замерзающим, прибыли на подмогу другие, отогревшиеся. Уже не тридцать автоматов, а пожа-

луй, сто чесали без продыху, и все пули, конечно, летели в Шестерикова. Это уже потом он узнал, что Свиридов, обеспокоенный слишком долгим путешествием генерала, сунул наконец глаза в карту и, с ужасом поняв, в какую ловушку пригласил он дорогого гостя, выслал роту – прочесать эти Перемерки и без командующего, живого или мёртвого, не возвращаться. И, покуда та рота вела бой на улицах села, Шестериков ей помогал как мог и как понимал свою задачу: оттаскивал генерала, сколько сил было, подальше прочь. Стрелять ему уже и смысла не было, за своим огнём немцы бы не расслышали его ответный, а вспышки его бы только демаскировали.

Когда пальба в Перемерках поутихла, они с генералом были уже далеко в поле, и позёмкой замело их широкий след, а там и овражек неглубокий попался, куда можно было стащить умирающего и хоть перевязать наконец. Расстегнув бекашу с залитой кровью подкладкой, Шестериков увидал, прощупал, что вся гимнастёрка на животе измокла в чёрном и липком. Из одной дырки, рассудил он, столько натець не могло, и не найти её было. Задрав гимнастёрку и перекатывая генерала с боку на бок, Шестериков намотал ему вокруг туловища весь свой индивидуальный пакет да потуже затянул ремень. Вот всё, что мог он сделать. Затем, передохнув, опять потащил генерала – по дну овражка, теперь уже метров за полста переноса и вещмешок свой, и маузер, и автомат и вновь возвращаясь за раненым. Генерал уже не хрипел

и не булькал, а постанывал изредка и совсем тихо, будто погружившись в глубокий сон.

Ещё до света слышно стало какое-то движение наверху, за гребнем овражка: рокот автомобильных моторов, скрип тележных колёс, голоса – не ясно чьи. Шестериков с одним маузером отправился ползком на разведку. Оказалось, овражек проходит под мостком, а по мостку идёт дорога. Ещё не добравшись до неё, он замлел от радости, расслышав несомненную перекасти-твою-мать, бесконечно знакомый ему признак отступления. А куда же отступать могли, как не на Москву, ведь Москва – рукой подать, к ней и движется вся масса людей, машин, повозок. Он не знал, что то было следствием удара 9-й немецкой армии, точнее – впечатлением от этого удара, опрокинувшим все надежды, что врага остановят подвиги панфиловцев и ополченцев и противотанковые рвы, отрытые женщинами столицы и пригородов. Впечатление, по-видимому, было внушительное: грузовики, переполненные людьми, неслись на четвёртых, на пятых скоростях, сигналив безостановочно, от них в страхе шарахались к обочинам повозки, тоже не пустые, нещадно хлестали ездовые загоняемых насмерть лошадей, но, как ни удивительно, а не сказать было, чтоб так уж сильно отставали пешие – кто с оружием, кто без, но все с безумными, как водкой налитыми, глазами. Вся эта лавина – с рёвами, криками, храпением, пальбой – текла по дороге, как ползёт перекипевшая каша из котла, у Шестерикова даже в глазах зарябило.

Но явилась надежда.

Быстренько он вернулся к генералу и, выбиваясь из сил, подтащил его поближе к мостку, чтоб на виду лежал; не могло же быть, чтоб не кинулись помочь, да хоть разузнать, в чём дело, почему тут генерал. Никто, однако, не кинулся, да едва ли и замечал постороннее.

Вдруг увидал он – милиционера, одиноко ссутулившегося на обочине, обыкновенного подмосковного регулировщика, в синей шинельке и в фуражке поверх суконного шлема, смотревшего на происходящее уныло, но без испуга, опустив руку с жезлом. Шестериков кинулся к нему с мольбою:

– Милый человек, останови ты мне машину какую или же повозку...

Милиционер только покосился на него и зябко передёрнулся.

– Мне ж не для себя, – объяснил Шестериков. – Мне для генерала. Вон он, можешь поглядеть, раненый лежит, сознание потерял.

– Чем я тебе остановлю? – спросил милиционер, не поглядев.

– Как то есть «чем»? Вон у тебя палка руководящая да пистолет. – Шестериков забыл в эту минуту, что и у него маузер, а в овражке остался ещё автомат. – Погрози, погрози им – неуж не остановятся?

– Ты это... – сказал милиционер. – Пушку свою спрячь. И не махай.

И он показал глазами на то, чего Шестериков не заметил впопыхах, – на человека, лежавшего шагах в пяти от него, на той же обочине, в шинели с лейтенантскими петлицами. Он лежал вниз лицом, откинув голую, без рукавицы, руку с пистолетом, рядом валялась окровавленная ушанка.

– Всё грозился, – поведал милиционер. – Возражал очень: «Подлецы, понимаешь, трусы, Москву предали, Россию предали!» А они ему с грузовика – очередь. Теперь, видишь, смирно лежит, не возражает.

– Что ж делать? – спросил Шестериков жалобно. И повторил свой довод: – Кабы я для себя, а то ведь генералу...

– Он что, – милиционер покосился наконец, – живой ещё? Шестериков не уверен был, но тем горячее воскликнул: – Дак в том-то и дело, что живой! Довезти б до госпиталя побыстрее...

Милиционер то ли задумался глубоко, то ли от безысходности примолк; его лицо, обветренное и от мороза багровое, движения мысли не выражало.

– А может, вдвоём попытаемся? – спросил Шестериков с надеждой, вспомнив наконец и про свой автомат. – Шарахнем по кабинке, а? Только заляжем сперва. Не очень-то нас это... очередью.

– Это не метод, – сказал милиционер. Похоже, он это время всё же потратил на раздумья. – Тут бы сорокапятку выкачать. Со щитком. Да по радиатору врезать! Сразу несколько тормознут. А так их, очередями, не вразумишь.

– Сорокапятка – это вещь, – сказал Шестериков, вспомнив некоторые моменты из собственного опыта. – Да где ж её взять!

Милиционер ещё подумал и развернулся всем корпусом к Москве.

– Ты вот что, – посоветовал он, – сбегай-ка, тут, метров двести, за поворотом, зенитная позиция. Они против танков стоят, но, может, для генерала один снаряд пожертвуют.

Перед тем, как сбегать туда, Шестериков вернулся к генералу – проведать – и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, но кто-то успел стащить с его головы папаху, а с ног – бурки, прекрасные, валянные из белой шерсти, с кожаной рыжей колодкой. Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто и в смертельной панике ухитрился ограбить лежащего, да у всех на виду? И ведь не за мёртвого же принял, видел же, что дышит ещё!

Уши и ступни генерала уже побелели, и нечем их было укрыть. Шестериков развязал вещмешок, без колебаний вытряхнул из него кое-какие инструменты, курево, спички, мыло, моток ниток с иглой и пару грязного белья. Это бельё он подложил генералу под голову, прикрыв уши, а мешок напялил ему на ноги и затянул шнуром.

– Облегчили? – спросил, подойдя, милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: – А не умерла Россия-матушка, не-ет!

– Милый человек! – взмолился Шестериков. – Ты постереги тут, чтоб его хоть из бекеши не вытряхнули. Тогда уже пиши похоронку. – И так как он привык вознаграждать человека за труды, то подумал, что бы такое предложить милиционеру. Из содержимого вещмешка ничего, как видно, того не заинтересовало. – Тебе жрать охота?

– А кому неохота? – откликнулся милиционер угрюмо.

Шестериков, опять не колеблясь, достал из-за пазухи свою горбушку и, только малый краешек отломив, подал её стражу. Тот её принял, не благодаря, и это Шестерикову даже понравилось.

– Только ты недолго, – сказал милиционер. – Всем, знаешь, драпать пора...

...Зенитчиков оказалось двое: один – совсем молоденький и, как видно, необстрелянный, весь в мыслях о предстоящем испытании, другой – постарше и поспокойнее, с рыжими гренадерскими усами. Шестериков спросил, кто у них за командира, – по петлицам оба были рядовые.

– А нам командира не надо, – сказал тот, кто постарше, выуживая ложкой из консервной банки мясную какую-то еду. – Чего нам тут корректировать? – Он кивнул на зенитку, стоявшую стволом горизонтально – к повороту, из-за которого всё ползла человеческая лава. – Как покажется коробочка – шарахай её в башню и в бога мать. И спасайся, как успеешь.

Банка у них, видать, одна была на двоих, и молодой вни-

мательно следил, не переступил ли старший за середину. Старший ему время от времени ложкой же и показывал – нет ещё, не переступил.

– Чего ж вам-то спастись, – подольстился Шестериков, стараясь на еду не смотреть. – Вон вы какая сила!

– А это ещё неизвестно, – сказал кто постарше, – станина выдержит или нет. Мы из неё по горизонтали не стреляли ни разу.

Просьбу Шестерикова они выслушали с пониманием и отказали наотрез.

– Ты погляди, – сказал молодой, – много ли у нас снарядов.

Снарядный ящик, из тонких планок, как для огурцов или яблок, стоял на снегу подле зенитки, и в нём, поблескивая латунью и медью, серыми рылами головок, лежало всего четыре снаряда.

– Только по танкам, – пояснил старший, – даже по самолёту нельзя. Иначе трибунал.

– Братцы, – сказал Шестериков, – но тут же случай какой. За генерала – простят.

Они пожали плечами, переглянулись и не ответили. Но старший всё же подумал и предложил:

– А вот к генералу и обратись. К нашему генералу. Его приказ – может, он и отменит. В виде исключения.

– Вообще-то навряд, – сказал молодой. – Генерал, он больше всего танков боится. Но уж раз такой случай...

– А где он, ваш генерал?

Старший не повернулся, а молодой охотно привстал и показал пальцем.

– А во-он, церквушку на горюшке видишь? Там он должен быть. Километров пять дотуда. Может, поменьше.

Шестериков поглядел с тоской на далёкий крест, едва-едва черневший в туманной мгле морозного утра. Глаза у него слезились от студёного ветра, и никаких людей он близ той колоколенки не увидел.

– Что вы, братцы, – сказал он печально, – да разве ж до вашего генерала когда досягнёшь? – Он имел в виду и расстояние, и чин. – Да и есть ли он там? Может, его и нету...

– Где ж ему быть? – сказал молодой неуверенно. – Место высокое, удобное для «эмпэ». Оттуда, считай, вёрст за тридцать видимо.

– Дак если видимо, – возразил Шестериков, – у него сейчас одна думка: скорей в машину и драпать. Они-то первые и драпают.

Так говорил ему полугодовой опыт, и зенитчики не возражали, а только переглянулись – с ясно читавшимся на их лицах вопросом: «А не пора ли и нам?»

Шестериков ещё постоял около них, слабо надеясь, что зенитчики переменят своё решение, и поплёлся обратно, к своему генералу. В этот час он был единственный, кто двигался в сторону от Москвы.

Между тем генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ – не тратить снаряды, под страхом трибунала, ни на какую цель, кроме танков, – находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел всё. При нём, впрочем, и не было машины, он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндевевшие статуи.

Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, *на выходе* – как бывает выход короля к своим приближённым, чтоб и на них поглядеть, и себя показать, как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди – для одних тягостная, для других не лишённая приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умилённых глаз. Он резко выделялся среди них – прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчёркнутым лёгкой сутулостью, в особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили – а может быть, именно и делали его – тяжёлые очки с толстыми линзами. Прекрасна, мужественно-аскетична была впалость щёк, при угловатости сильного подбородка, по-

ражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы, рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран, всё лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли.

Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, и разве что наблюдатель особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нём ускользающую от других обманчивость.

Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиною длинные руки; от всей его фигуры в белом тулупе, перетянutom ремнём и портупеями, исходили спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались: никакого НП здесь не было, не высверкивали из окон звонницы окуляры стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорей всего страх, рождённый непониманием происходящего, который ещё усиливался в закрытом пространстве.

Ему вдруг невыносимо тесно стало в тёплой избе, с телефонами, картами, столами и жёсткой койкой за занавеской, тесно и в закрытой кабине «эмки», захотелось на простор, пройтись пешком, подняться хоть на какую-то высоту, хоть что-то понять и решить.

Несколько дней назад его, вместе с шестью другими командармами, вызвал к себе командующий Западным фрон-

том Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто и с неопределённой угрозой в голосе объявил, что, если хотя бы одной армии удастся продвинуться хоть на 2 километра, задача остальных шести – немедленно её поддержать, любой ценой, всеми наличными силами расширяя и углубляя прорыв. Семеро командармов приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но, верно, каждый спросил себя: «Почему бы не я?» Про себя генерал знал точно, себе он сказал: «Именно я».

И вот, не далее как вчера, он попытался это сделать – силами двух дивизий – и попал немедленно в клещи вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело вспоминался с содроганием в душе, заодно и с чувством неловкости и стыда – оттого, что был вынужден по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался без больших потерь, но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения – внутренний и внешний, и может быть, зря он поторопился наступление прекратить. Может быть, следовало идти и идти вперёд?

Против этого как будто говорила вся эта паника на Рогачёвском шоссе, которую он видел отсюда: замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительное впечатление и на его соседей. Однако он знал: эта паника могла возникнуть и от одного-единственного танка, появившегося, откуда его не

ждали, к тому же ещё заблудившегося. Наибольшего эффекта, и весьма часто, достигают именно заблудившиеся. В августе под Киевом он был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившихся из ближнего леса, – как выяснилось, это несчастный итальянец-берсальер, сам обезумевший от страха, метался меж деревьев на мотоцикле... Всё было возможно при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее – при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так всё-таки – зря он поспешил или не зря?

В эти его размышления ворвался громкий и возмущённый спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чей-то страх со стороны. Следует, доказывал один, послать туда роту автоматчиков и кой-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся. Другой же говорил, что, напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, – ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе.

Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая – и закрывая – этот спор своим звучным, глубоким, рокошующим басом:

– Когда русский Иван наступает – спиной к ненавистному врагу, – у него на пути не становись. Сомнёт!..

Он это сказал отчасти с восхищением, уславив последнее слово таким сложно-витиеватым добавлением, какие уже

создали ему славу любимца солдат, первого в армии матерщинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся, он удивился своему же неожиданному решению.

Ещё не зная, прикажет ли он сегодня продолжать наступление, он уже чётко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит ни одного патрона. Лучше пропустить их мимо себя, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий оперативный смысл, своя изюминка – чтоб не было остановки в этом паническом бегстве.

– Что Иван опомнится и упрётся, этого немец ожидает, – произнёс он вслух. – А вот чего он не ожидает – кулака в рыло!

И это было первое правильное его решение.

Но пошла неожиданно метель, снег западал полого и так густо, что стало не видно лошадей у ограды, и он даже обрадовался поводу ещё потянуть с приказом. Никогда ещё в его военной жизни не было такой крошечной неясности. Никаких разведданных о противнике, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом; рассчитывать он мог лишь на интуицию, которую за собою признавал, на везение, ну и на смелость, наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть, и Клаузевиц, высказался неглупо: «Помимо учёта сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на неё».

Он приказал, чтоб ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и,

сняв перчатку, огромной, костистой и красной от мороза кистью стряхивал с неё налетавший снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время, никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера, от Калинина, протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня – танки Рейнгардта и Гёппнера; с юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, ещё того зловещее – танки Гудериана, и не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в разинутый зев этих, готовых сомкнуться, клещей. Но – если б хоть иногда не выручало нас безумие и только трезвый расчёт был бы нашим единственным поводом, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило её начинать. Было нечто, рассеянное в воздухе, не подтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками и всё же профессионалами угадываемое безошибочно, – нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, три месяца назад, было и худшее, чем сейчас: когда пришлось свою армию, которой он командовал тогда, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из Киевского «котла». Каким обещанием пахло тогда, что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли, рёвы сотен моторов, дымом застланный горизонт – всё это вместе называлось «Гудериан» и появлялось откуда меньше всего ждалось. Право же, появившись оно вдруг из этой метели, он бы это не посчитал за чу-

до. Скорее чудом было, что удалось тогда вырваться, избежать стальной хватки клещей. Но ведь удалось же! Было везение, но было и умение не упустить его. Что ж, всего только и нужно сейчас – *повторить чудо*. И пришла робкая мысль – что ещё какое-то событие должно случиться сегодня, какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу. Только бы – не упустить...

Он давно уже смотрел поверх карты, на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжёлым амбарным замком, на затёртую, еле различимую вратную икону. Вот что его тревожило: если всё-таки продолжать наступление, он должен будет пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгардта. Сейчас в 8 километрах отсюда шёл бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. Два батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось – двинет Рейнгардт свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил генерал, нельзя начинать.

В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.

Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровно ничего не значило или почти ничего, он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует – и можно оценить

его действия и предсказать следующие. Не примирился, но и не двинул – потому ли, что не смог? Или какой-то иной был у него расчёт и отдать этот Белый Раст даже входило в его планы?

Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.

– Узнай-ка, – сказал генерал, – чей престол у этой церкви.

Лицо делегата не выразило удивления – но лишь оттого, что залубенело на ветру.

– Вопрос понятен?

Делегат вопрос повторил, но спросил в свой черёд, где это можно узнать.

– Об этом у начальства не спрашивают.

– Виноват, товарищ командующий. У кого *прикажете* узнать?

Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.

– У любой бабки в деревне, на тридцать вёрст окрест. И можешь не проверять.

Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чём существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.

– Узнал, товарищ командующий. И не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надёжнее.

– Так чей же престол? – спросил генерал нетерпеливо.

– Мученика Андрея Стратилата.

– И с ним?

Делегат связи смотрел отупело и медленно багровел.

– Одного Стратилата он тебе назвал? А сколько же было вместе с ним убиенных?

– Виноват, вот число запомнил.

– Две тысячи пятьсот девяносто три?

– Точно!

Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.

– Это имеет какое-нибудь значение? – спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди. Фамилия у него была – Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.

– Значения никакого, – ответил генерал. – Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.

– А Стратилат – это что значит? – спросил начарт. – Фамилия?

– Ты, конечно, безбожие исповедуешь? – генерал на него покосился насмешливо-добродушно. – Ну, а я, грешным делом, немножко верую. Теперь же это не возбраняется? – и, широко, даже несколько театрально, себя перекрестив замёрзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос начарта: – Стратилат значит полководец, стра-

тег.

– О, тогда это имеет значение. И очень большое. Разрешите поздравить?

– С чем же? Ведь мученик.

– Э! – сказал начарт. – А мы не мученики?

Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», – решил генерал, но, не слишком устрасаясь будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату, но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое:

– Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!

Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развёл руками. Начарт поднял глаза к небу.

### 3

А быть может, в эту минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая 35 градусов мороза с 35 кило-

метрами, оставшимися ему до Московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила – так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны! – а потому, что был связан с южной клешнёю планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом её кольце: где-нибудь на Таганке, или на Самотёке, или на бывшей Триумфальной, теперь – Маяковского, танкисты Рейнгардта и Гёппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано – и так было близко!

Однако Рейнгардт знал: к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан ещё каким-то чудом двигался. 3 декабря он перерезал железную дорогу Тула – Москва и шоссе Тула – Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула – любой ценой!» – сказано было фюрером, но, видимо, было не в натуре «капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу с её оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронебойщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И, насколько Рейнгардт мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в

бой, дал русским послушать рёв двухсот моторов, но встретились они – с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошёл Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот всё растягивался, и, кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а – Кашира. О, разумеется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнц», это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгардту – начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.

Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе б к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения вместо незамерзающего глизиана залита была вода – через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А ещё потому нерасчитанно много потрачено было горючего, что давно стёрлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололёду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришёл эшелон, гружённый «особо ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привёз – вместо горючего, вместо гли-

зантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов – отёсанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы...<sup>9</sup> Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?

Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгартд более мрачен или даже обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невесёлый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», – и, прихватив с собою Шестерикова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день – да не в этот ли сумеречный час? – за 200 километров к югу, за Тулой, накреньясь на обледенелом склоне и также лишённый шипов, неудержимо сползал в овраг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз в белой слепоте было мучительным, как тошнота. Ещё тягостней, унижительней стало на душе Гудериана, когда танк наконец остановился – на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя – прусская традиция предписывала адресовать своё раздражение только вышестоящему, никогда не вниз! – он вылез через башенный люк и побрёл по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк, с задранной пушкой, медленно полз за ним.

А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадёжен-

---

<sup>9</sup> Этими плитами облицованы в Москве, на ул. Тверской, цоколи зданий Центрального телеграфа и соседних.

ный, в душе его что-то пело, душа была тронута едва не до слёз, но для записи в дневнике отстаивалось суровое, торжественное, римское: «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами».

Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с жёлтыми крестами и чёрными именными литерами «G» на бортах, с качающимся над башней хлыстом антенны, так же медленно полз по дну неглубокой лощины – быть может, руслом вымерзшего ручья, – и с обеих сторон с пологих склонов сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом немалым усилием сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни, – крепкое лицо ещё молоджавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем он замечал и нечто кроме их лиц – грязных, заросших щетиной, тронутых обморожением, с конъюнктивитными красными глазами, – он видел разбросанные вокруг заметённые холмики, выглядывавшие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колене, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверно, необратимое: германцы перестали хоронить своих покойников! Их только оттаскивали от траншей – сюда, в эту лощину. Он ехал и топтал гусеницами кладбище!

Но, кажется, живые были всё-таки рады ему, он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать:

- Старик пожаловал...
- Молодчина, выглядит, как всегда...
- А может, не так всё и плохо?..
- Сейчас он скажет... Кто же, если не он?
- Гейнц, не скрывай от нас ничего!

Они перестали верить своим офицерам, они верили только ему. Это был *его* батальон, в котором давным-давно, ещё лейтенантом, он командовал ротой; здесь по традиции хранились его пилотка и пистолет, и он был произведён в «почётные солдаты»; здесь каждый день в *его* роте выкликал на поверках фельдфебель: «Гудериан Гейнц!» – и так же зычно откликался правофланговый: «Отсутствует по уважительной причине: командует нашей Второй танковой армией!» Эти егеря и он считались «Kriegskameraden»<sup>10</sup>, и значит, они могли обращаться к нему на «ты» и спрашивать о чём угодно. Но, Боже, что случилось с его батальоном! Это невозможно было признать за войско! Только редкие в полной форме – то есть в кургуzych шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же – в пилотках, завёрнутых на щёки, или в русской драной ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьем и бумагой, кто даже в лаптях с онучами... Грязные, мучимые вшами, греющие руки под мышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то соба-

---

<sup>10</sup> Боевые товарищи (нем.).

чье, слезливое, молящее, – так выглядели герои Польского похода, боёв на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла!

Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с очками-«консервами» и чёрными капсулами ларингофона, стянул подбитые мехом перчатки, положил руки на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, но нужно было, хотя бы отчасти, почувствовать то же, что и они.

Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд:

– Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами! Выше головы, нам есть чем гордиться. Бывало нам и жарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но ни про одну нашу победу никто никогда не мог бы сказать: «Им повезло». А вот вашему противнику, – он протянул руку туда, где находились не видимые ему позиции русских, – ему просто везёт сейчас, везёт отчаянно. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Ещё три дня – и всё переменится, только нужно сделать одно, последнее усилие. Но, солдаты... Генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, о невозможном он вправе только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан вас отвести в тыл. Но я не могу этого, мне сейчас нечем вас заменить. И вот – ваш старый Гейнц просит вас...

Он оглядел всю толпу и ничего не прочёл на их лицах, за-

дубевших от мороза, тупых, не способных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть.

— ...просит вас, — повторил он, прижав руку к груди, — куда ваши товарищи наступают на другом участке, ещё на три дня остаться в окопах. Подумайте хорошенько: быть может, кто-то из вас не доживёт до четвёртого дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпущу. У меня язык не повернётся упрекнуть его. Это всё, солдаты.

Он слушал их молчание, вполне сознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щёки и уши, ледяной ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поёжиться под меховым комбинезоном.

Но какое-то движение произошло в толпе, чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнёс то, чего так напряжённо он ждал:

— Какие могут быть разговоры, Гейнц. Конечно... Мы останемся.

Как будто общий вздох облегчения прошёл по толпе, она смыкалась теснее вокруг его танка, и, сдавленные, вибрирующие от холода, их голоса звучали для него слаще любой музыки:

— Раз ты просишь, Гейнц, значит надо... Правда же, все, как один, останемся?

— Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец, ты

знаешь святое слово «verboten»<sup>11</sup>.

– Мы постараемся, Гейнц! Мы выйдем русских из их позиций!

– Я этого не прошу, – отвечал он, почти никого не видя, чувствуя в горле запирающий комок. – Только в своих окопах. И только на три дня. За это время придёт пополнение, придут снаряды, горючее, вы наденете зимнее обмундирование. И отдохнёте в тепле.

– Не слишком ли много обещаешь, Гейнц?

Это слышалось сзади, и он обернулся – резко и гневно. Некто – маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, – сердито хмурясь, зажав автомат под мышкой, простирал руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя.

Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.

– Этому уже ничего не надо. Согрелся у моей задницы.

Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.

– Как тебя зовут? – спросил Гудериан.

– Рядовой Вебер, господин генерал-полковник.

– Господин Вебер, зачем такие строгости? Меня зовут Гейнц. А тебя?

– Ну, Фридрих... Фридрих Вебер.

---

<sup>11</sup> Запрещено (нем.).

– Что ты говоришь! Неужели – Фриц?

Тот, ещё больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой:

– Не понимаю, что тут смешного?

– Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат – Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские: «мороженный Фриц». По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?

И этот коротышка, такой с виду тщедушный – но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, – вдруг закричал, трясаясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак:

– Прикажи атаковать, Гейнц!

– Ну-ну, успокойся...

– Ты увидишь сегодня «мороженого Фрица»! Десять русских покойников, тёпленьких, я тебе обещаю!..

Нет, это всё-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов – это чересчур просто!.. Они этот дух явили – за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами; они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые кони при пении горна, и вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием:

– Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!

– Мы согреемся в атаке!

– Помнишь, как было под Дюнкерком?

– А как форсировали Березину? То ли ещё было!

...Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредёт по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в чёрном комбинезоне, кому-то куда-то указывающего рукой, – зрелище, наверно, диковинное, но и жалкое; тот, «мороженный», хорошо бы посмеялся в отместку.

Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радовать о своём несчастье, десятки слухачей слышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он всё возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня – нет, выманил! – из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.

Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-й танковой армии, расположившийся

в Ясной Поляне, имении Толстого. Белые башни ворот – как и впервые, когда он в них въезжал, – показались ему бастионами, которые всякий раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению.

Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтоб они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все четыре свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом фон Боком – как только представится возможным.

Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошёл к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухощавую, но и достаточно плотную фигуру пятидесятитрёхлетнего генерал-полковника германских бронетанковых войск, в сером мундире с чёрным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на шее и

особо ценимой наградой – дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбочным, ни лукавым, а измученно-серым. Вглядываясь в себя придирчиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что бравый Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности, очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока ещё эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало всё же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далёкой.

Взяв тяжёлый подсвечник, он перешёл в кабинет хозяина, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшаясь его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, по-

советовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на неё жалобы совсем не медицинского свойства, точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые «делают нашу земную жизнь священной», упомянет он – любовь к женщине, и это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет от роду, счастливым лейтенантом, командиром егерской роты, и особо оценил её способность быть *верной подругой солдату*, – кому же ещё и было адресовать горестные признания?

«Мне самому никак не верится, – выводила его рука, – чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!..» Ей предстояло узнать, что «наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием...» К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что её Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны: «Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт!»

Но – откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей – без всяких «почти» – в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему больше, чем кому

бы то ни было, что русский «танковый аргумент» впятеро превосходит немецкий? «Зато, господа, – так ему передали слова фюрера, – у нас есть Гудериан!» И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. «Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?» – «Пять-шесть, мой фюрер». – «Значит, я могу быть уверен, что вы там будете по крайней мере двадцать восьмого?» – «Да, мой фюрер». Он ошибся – на один день: его танки и танки группы Гота были в Минске двадцать седьмого. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, – разве не блестяще?

Но ещё весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво: «Неужели Т-IV ваш самый тяжёлый танк?» – закралось подозрение, что не в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем всё, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с пленённым «русским Кристи»<sup>12</sup> под скромным индексом «Т-34» все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый её лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие,

---

<sup>12</sup> Уолтер Кристи (*Walter Christie*) – американский конструктор, заложивший принципиальные основы танкостроения. Немцы называли «русскими Кристи» советские танки ввиду слишком откровенного заимствования его конструктивных решений. В отношении «Т-34» это несправедливо.

в полметра, гусеницы! – как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии! Ему не терпелось испытать «тридцатьчетвёрку»; сев за рычаги, он погонял её по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулемётов – башенного и курсового. Потом её расстреливали из танковых пушек – она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, удалось её подорвать. Танк умер, но не загорелся – и значит, спас бы свой экипаж, – ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудо-машине, положив руку на тёплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир!»

Это нельзя было превзойти, это – увы! – нельзя было даже повторить. Немецким изобретением – дизелем – русские распорядились, как не смогли сами немцы: в алюминиевом исполнении, из некоего загадочного сплава, он получился компактным и лёгким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии: лёгкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели – на самолётах, где они ещё могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха.

Бывая несколько раз в России, ещё в двадцатые годы, в составе миссии генерала Лютца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперёд. Они охотно показывали свои заводы и полигоны, он присутствовал на манёврах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в 2 километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины, и майор Гудериан с командиром механизированного полка П. так мило, откровенно беседовали – оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя за дружеским ужином он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нём не знали. «Всё очень просто, Гейнц. Его делали враги народа – значит, делали на совесть и, конечно, подпольно». – «То есть?» – «Заключённые. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты искали небось на Тракторном?.. А имя русского Кристи – Кошкин. Кажется, ему пришили троцкизм, а может быть, даже покушение на Сталина. Это, в данном случае, не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Много приходилось делать впервые – и, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупновскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость – вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель – тоже от нужды: ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный – при мощности в

пятьсот сил, да ещё проблема охлаждения!.. Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное – стимул: как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение». – «И они его получили?» – «Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало...»

Так этот безвестный Кошкин из своего заточения, теперь уже – из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с Рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлёбки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана! «Истинно говорится, – сказал он П., – не камнем и не железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй, рухнет она – без одного хотя бы узника-патриота». – «Не сомневайся, Гейнц, – ответил П., усмехаясь. – Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов – сколько понадобится».

(Разговор о патриотизме продолжился после ужина. «Имба, где тебя поселили, Миша, – сказал Гудериан, – не имеет запоров. Часовые, случается, засыпают на посту. В какой стороне восток, можно определить по звёздам, а впрочем, я подарю тебе компас. И можешь взять с собою двоих». П. размышлял минуты две – и отказался: «Кто же поверит, Гейнц, что я, генерал, ушёл от Гудериана!» – «И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму?» – «Я предпочитаю тюрьму, – от-

вечал П., – трибуналу и стенке. Спросят, почему не разделил судьбу Кирпоноса<sup>13</sup>, – и что я отвечу?»)

Но ведь были же – хотя всё больше вводилось в бой этих «тридцатьчетвёрок», – были «котлы» Белостокский, Киевский, Брянский, были за полгода три миллиона русских пленных, из которых он мог половину отнести на свой счёт. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснимо – к поражению?

Между тем он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла Шведского и Бонапарта, разыскал её и здесь, в библиотеке усадьбы, но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по несколько минут перед сном. Всё же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него заложено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался: «Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все... солдаты французской армии... испытывали

---

<sup>13</sup> Кирпонос Михаил Петрович (1892–1941) – генерал-полковник, командующий Юго-Западным фронтом. В окружении под Киевом, согласно официальной версии, погиб в бою, по слухам – застрелился.

одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину войска*, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения... Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знамёнами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная была одержана русскими под Бородиным... Французское войско ещё могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, гибель пятисоттысячного нашествия и гибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».

Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, быть может, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя — и не мог извлечь, хотя шёл так близко от дороги Наполеона и несколько раз её пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчёта и смысла, слишком оправдывая известное положение Альфреда фон Шлиффена, что и побеждённый вносит свою лепту в дело твоей победы. Отдавая должное русским солдатам, их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жиз-

нюю, он в то же время твёрдо полагал, что они, в отличие от немцев, безынициативны, боятся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. То, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их вцепляется намертво в клочок земли, не стоящий не только их жизни, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую фюрер всё укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в её стенах, он, Гудериан, говорил: «Значение этой крепости неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, когда перестаём интересоваться. Нужно у одного её входа поставить пулемётное гнездо и прожектор и у другого входа пулемётное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше».

Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Пренебрежение к «подхваченным кускам материи на палках» или к цене пространства, где размещены войска, ещё можно было простить непрофессионалу, нельзя было ни простить, ни понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено – доказать, что Наполеон

не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине! И при этом автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону, когда описывал, как он с ходу, ещё до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю, которое «было не более позицией, чем любое другое поле в России» и на котором «немыслимо было удержать в продолжение трёх часов армию от совершенного разгрома и бегства». Да после такого трюка, выигрыша позиции, Наполеону и не было нужды руководить самому, он мог всё препоручить своим маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну, и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была – Шевардинская. Однако ж у автора не поднялась рука написать, что битва была *выиграна* Бонапартом – ещё за двое суток до того, как она началась, – со скрежетом зубовным он признал только, что она была *проиграна* глупым русским командованием. Граф, верно, придерживался того расхожего мнения, что из двух генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку: подзрительно часто побеждает как раз тот, кого заранее считали глупее.

Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял – то место, где молоденькая Ростова, при эвакуации из Москвы, приказывает выбросить всё фамильное доб-

ро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество, и он снисходительно отнёсся к тому, что там ещё говорится при этом: «Разве ж мы немцы какие-нибудь?..» Что ж, у немцев сложился веками иной принцип: армия сражается, народ – работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. Вот что было любопытно: этот поступок сумасбродной «графинечки» предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старости Васи́лисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл, ещё и не начав сражения, он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку «старой лисицы Севера», на генеральное сражение, которое вовсе и не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества – гигантские пространства России, способность её народа безропотно – и без жалости – пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же, он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать *его Бородино*?

Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью – как прежде всего остановки в движении; без движения не было «Быстроходного Гейнца», теряли цену его манёвры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрые рокадные перемещения, знаменитое его «вальсиро-

вание», «плетение кружева» – не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда «в кулаке, а не вразброс». А приманка спокойно дожидалась его – Киев, поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули «котёл» с пятью русскими армиями. Более чем полмиллиона пленных – разве не блестящая победа? Но блицкриг имеет одну особенность: он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления, на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с фюрером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и всё внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить, не пригрозил отставкой? Потому что – солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому захотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало *генеральное*. Ему и самому казалось, что «сбежать» на 450 километров к югу и вернуться – ещё успеется до зимы. Не успелось. И не без оснований укорял его тогда Гальдер<sup>14</sup>, этот сухарь, штафирка, профессор, в жизни не командовавший даже полком, к тому же ухитрившийся не присутствовать на совещании:

– Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок

---

<sup>14</sup> Франц Гальдер – начальник Генерального штаба сухопутных войск. После 20 июля 1944 года Гитлер на эту должность назначит Гудериана.

вас поддели?

Было дико и обидно слушать это Гудериану, который, единственный из генералов, осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал надменно и заносчиво, а главное, уже почти убеждённо:

– Я два часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему, и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным.

– Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте Генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории невозможных.

– Мой дорогой Гальдер, – отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня, – это как раз то, о чём я всегда мечтал. Чтоб Генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался.

Сухарь и штафирка был, однако, прав – разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране всё на пользу, а прежде всего – её бедность, её плохие дороги, её бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми шестьюстами с лишним тысячами пленных русские оплатили главное для себя – время, они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную

эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно. А если – мужество? А если даже смысл вторжения?

«Я только солдат», – говорил он о себе, но чем-то должна же была вдохновляться его энергия, не одними же мечтаниями о фельдмаршальском жезле, и она вдохновлялась сознанием, что серой чуме большевизма не сможет противостоять дряхлеющая Европа, предел поставит – лишь сильная духом, отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя остриём меча, взнесённого отрубить все девять голов гидры, но, к сожалению... к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено: генералы делают войну, политики делают политику. Как же втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно, чем в первую очередь, приходится – страшно сказать – переосмысливать и самые цели войны? Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно приглашал в бургомистры Орла:

– Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад – как бы мы вас встретили! Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдёте – а вы уйдёте! – мы должны будем всё начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины.

При этом он был в мундире со всеми регалиями, пронафталиненном и со складками от двадцатилетнего хранения на дне сундука. И не отказывался поведать, как все эти годы он трясся от страха, что его генеральство откроется.

В те же дни было доложено Гудериану, что в камерах и подвалах городской тюрьмы найдены сотни трупов – узники, расстрелянные за день или два до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «За что?» – конкретный для любого мясника из гестапо – здесь звучит безнадёжной абстракцией. Ни один из казнённых не имел смертного приговора. Были чаще всего с пятилетними сроками, у некоторых они уже кончались, были и вовсе не имевшие приговора, только ещё подследственные – в большинстве по делам о «вредительстве», «антисоветских заговорах», «контрреволюционных намерениях»...

Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе пятнадцать минут, и терпеливо их отстоял у стены, близкий к обмороку. Всё же он переоценил свои нервы, это оказалось ещё ужасней, чем он ожидал, чем если бы эта массовая бессмысленная казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мёртвых тел, даже и в больших количествах, но до сих пор он их видел на полях боёв, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть – живых,

когда они в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его ещё сильнее, было ужасней и смрада, и нескончаемого, неутихающего вопля – то, как смотрели на него самого: со страхом и ясно видимой злобой. Будто и он был к этому причастен или тем виноват, что мёртвые глухи к отчаянным мольбам откликнуться. Явно, от него требовали уйти, и он бы ушёл немедленно, но дело касалось армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять!

Между рядами, щедро крестя убитых и живых, похаживал священник в лиловой рясе, полненький, сивогривый, потёртый русский батюшка, по всему виду – выпивоха и чревоугодник, но душою жалостливый и любвеобильный. Он всех оплакивал щедрыми непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел подозвать его и спросил:

– Почему ваша паства так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?

Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ёжась от страха, смотрел снизу вверх на стройного генерала в чёрном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой серебряный орёл держал в когтях венки со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошёл, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми – но, впрочем, го-

товыми умереть за него, – Гудериан ничего не мог поделать, они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один.

– Говорите, – сказал Гудериан, – они вам ничего плохого не сделают. Но лучше, если оставите в покое вашу рясю.

Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слёз.

– Господин генерал, вы бы не хотели, чтоб вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясённая горем?

– Так, – сказал Гудериан. – Только так.

– Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки?

– Вы хотите сказать: я наступал слишком быстро? Перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это моё ремесло, батюшка. Старинное и почтенное, Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать своё дело как можно лучше. Но вы уверены, что, если бы я его исполнял хуже и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывезли на грузовиках? Я почему-то уверен в другом: они бы сделали то же самое, а на машинах вывезли бы самих себя и своё добро – как можно больше.

– Кто и в чём может быть уверен, кроме Бога единого?

– И тем не менее вы мне бросили упрёк. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они – механическое следствие, безрассудная слепая сила. Как ураган, как землетрясение...

Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжело вздохнул, по лицу его, по глубоким морщинам поползли слёзы.

– Да не обижу вас, господин генерал...

– Говорите всё.

– ...но это наша боль, – вымолвил батюшка, – наша и ничья другая. Вы же – перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете: «Отчего это болит? Как смеет болеть?» Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше.

– Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?

– Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны перед собою, господин генерал, то признаете...

– Благодарю, – сказал Гудериан. – Не смею вас задерживать.

Он прервал – не священника, а переводчика, уже догадавшись о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке и не поздоровиться – потом, за его спиною. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие доносы и на него самого в Берлин, – впрочем, аккуратно перехватываемые своим человеком в армейской контрразведке, – да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них, плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. Ты пришёл показать нам наши раны, а – виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а со-

жжённые деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондеркоманд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. А могла ли не начаться – или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене – эта извечная бессмысленная кровавая чехарда: сопротивление – кара за него – месть за кару – новая кара за месть – новая месть за новую кару?

...А ведь в Лохвице – той, что замкнула Киевский «котёл», – его танк забросали цветами.

Рукоять меча держали другие – и они не расслышали слов кремлёвского тирана, сказанных на одиннадцатый день войны тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сёстры!..» Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дёшево бросался Гитлер; в устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали веселей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей, он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой перемены флага – его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади, но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с её усилением и усилением классовой

борьбы, противостояла – Россия.

Всегда, до конца своих дней, считавший мифом «непобедимость русского колосса» Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна – в тот, одиннадцатый её день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..» – а в Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, верно, пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что, покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время – никем не предсказанная, не учтённая, сумасбродная «графинечка» Ростова без колебаний раздаёт свои подводы раненым. А между тем она ему объявила свою войну – и не легче войны Кутузова и Барклая!..

Но – Рубикон перейдён, и время не повернёшь вспять, к 21 июня; что ж оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны? когда изношены моторы и стёрлись шипы? когда осталось горючего на два дня боёв, на столько же – снарядов, и в кулаке только четверть прежнего количества танков, и нет надежды, что всё это придёт, хотя бы через неделю? Выполняя приказ фюрера, спешить экипажи и всех повести на отчаянный штурм? Это неплохо звучало бы для истории – «Ледовый поход Гудериана». И они – превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно... Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков?!

Его рука ещё выводила в письме: «Ростов был началом наших бед...» – но он знал: что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается Генеральный штаб, да уже и принял его, и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало отвести войска от Каширы и Тулы, – линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона, – с командным пунктом в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весной продолжить начатое – второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным, но какая же была насмешка судьбы, что именно он, гений и душа блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого и за его столом, написать первый за всю войну приказ об отступлении! Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. И этот доставшийся ему жребий было не обойти.

С командующим группой армий «Центр» Фёдором фон Боком его соединили в пятом часу утра. Фельдмаршал ещё не ложился, был крайне утомлён, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему о своём решении, ответа не было так долго, что казалось – прервалась связь. Наконец фон Бок спросил:

– Где, собственно, вы находитесь?

– В Ясной Поляне, пятнадцать километров от окраины Тулы.

– Я почему-то думал – в Орле...

– Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтобы наблюдать общую картину. Она – безотрадна.

– Я понимаю, – сказал фон Бок. – Я понимаю, почему вы так решили.

Гудериан всё-таки ждал чего-то ещё. И дождался:

– Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надёжно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?

– Вполне, господин фельдмаршал.

– А я, знаете ли, хоть и в семидесяти километрах, а чувствую себя...

– Я желаю вам, господин фельдмаршал, – сказал Гудериан, – спокойной ночи.

Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно:

– Доброй ночи, мой...

Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня интересует судьба всей Германии, за

которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собою чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией.

Совершая свой поступок – может быть, высший в его жизни, – он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным – азарт первых минут бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз.

– Да поможет мне Бог, – произнёс он вслух, откладывая перо.

Приказ лежал на столе Толстого. Он заканчивался обычным «Хайль Гитлер!», оставалось лишь подписать его. А «Быстроходный Гейнц» всё медлил, точно бы опасаясь, что, когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не господин её, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись – без имени, звания, должности – показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, – *Guderian...*

Этот приказ только рассылался в войска, но ещё не приводился в действие, и советский генерал, находившийся в ограде церкви Андрея Стратилата, не мог о нём знать. Бездействие противника, выбитого из деревеньки Белый Раст, успокоения не принесло; в неожиданном и как будто покорном молчании Рейнгардта могли таиться и новый коварный замысел, и ожидание какого-то обещанного ему резерва, но и просто апатия, неохота посылать измученных солдат в метель и стужу на приступ. И, предполагая худшее, генерал то и дело гонял конного связного за полтора километра на свой КП в Лобню, к телефонному узлу, хоть проще уже было бы дотянуть провод сюда или самому туда вернуться. Чего так хотелось ему – отрешиться, подняться над суетой и неразберихой, – не вышло и здесь; неизвестность только пуще изматывала ничуть не отдалившимися угрозами. Здесь был он – страус, зарывший голову в снег.

В последний раз ждали связного особенно долго, и он возник из метели почему-то спешенный, ведя коня в поводу. Рядом возник ещё некто – в белом длиннополом тулупе, ушанке и валенках; на груди висел бинокль в новеньком футляре, плотно набитая командирская сумка моталась по бедру. Ещё молодое, обожжённое морозом лицо, с ямочками на щеках, выглядело как будто смущённым.

– Просятся до вас, товарищ командующий, – сообщил делегат связи. – Говорят: заблудились маленько.

Пришедший с ним это подтвердил – охотно вспыхнувшей зубастой улыбкой – и сказал, чуть разведя руками в перчатках, отороченных на запястьях белым мехом:

– Чего не случается... Виноват.

Генерал, убрав ногу с паперти, намеренно повернулся сначала к делегату и потребовал доклада о Белом Расте. Выслушав внимательно – всё о том же бездействии противника, – он боковым зрением не упускал пришельца. Скрипучая амуниция и слишком чистый тулуп не выдавали в нём фронтовика, но не мог он быть и порученцем из штаба фронта и тем более из Москвы, не так держался. «Морда, однако, у него командирская», – отметил генерал. И ощутил как бы крохотный толчок в сердце: не этот ли пришелец, стоящий в неловком ожидании, и есть то событие, которое непременно должно нынче случиться, то самое, поданное свыше, знамение удачи?

– Итак, заблудились, – протянул генерал басисто, поворачиваясь наконец к нему. И деланно возмутился, играя богатым своим голосом: – Как же так? Не понимаю! И бинокль не помог?

– Однако, – возразил пришелец со своей охотной улыбкой, – всё-таки вышли на вас. Если, конечно, вы – генерал Кобрисов. Не ошибаюсь?

Делегат связи стоял с невозмутимым лицом, поглаживая

храп коню.

– Ошибаетесь, голубчик, ошибаетесь, – при том шутили-во-драматическом тоне, в каком говорил генерал, его можно было понять двояко. – А я с кем имею честь?

Пришелец не чересчур поспешно вытянулся, изящно касаясь перчаткой своей пышной ушанки – много пышнее, чем у генерала.

– Подполковник Веденин, командир двести шестой отдельной стрелковой бригады. Прибыли в распоряжение генерал-майора Кобрисова.

– И что же с вашей бригадой? Не дай бог, потеряли?

– Никак нет. Видите ли... Пунктом назначения нам были указаны Большие Перемерки. Впрочем, кажется, Малые... – Подполковник было потянулся к своей сумке, но по дороге к ней отдумал. – Ну, теперь уже не важно, мы и те, и другие как-то миновали. А вышли – вот, к Лобне. Просил вашего связного нас сориентировать – он вместо этого привёл к вам...

– Умник он у нас, – сказал генерал насмешливо-одобрительно. – Да почему же «вместо этого»? Привёл правильно.

Делегат связи, глядя так же невозмутимо, стал руки по швам. Конь, звякнув удилами, положил ему голову на плечо и всхрапнул.

– Сколько у тебя людей? – спросил генерал быстро и требовательно, вынуждая к ответу столь же быстрому.

– Два полка полного состава.

– Полного состава, – повторил генерал, как эхо. – Что, только сформированы?

– Свежие, товарищ генерал.

Подполковник отвечал таким тоном, как если б сказал: «Гренадеры! Орлы!»

– Свежие – значит, небитые. Так оно – на военном языке?

– Сибиряки, однако, – возразил подполковник.

– И что же? – Генерал к нему подошёл вплотную и посмотрел сверху вниз с насмешливым интересом. – Как понимать – это особая порода: сибиряки? Вы там, в Сибири, с медведями в обнимку ходите? Водку из миски черпаками хлебаете и живыми тиграми закусываете?

Спутники генерала готовно хохотнули, но он оборвал их, возвысив голос до командного, глядя сквозь толстые линзы пронзительно-сурово:

– Особых ваших сибирских преимуществ не наблюдаю. Заблудились вы, как малые дети. И благо ещё, на противника не вышли походной колонной. Он бы вас отлично сориентировал – в гроб.

Подполковник, противясь распекающему начальству, как это принято в армии – одними пальцами рук в перчатках и пальцами ног в валенках, – вытянулся ещё попрямее, с потемневшим, построжавшим лицом.

– Прошу, товарищ генерал, указать наше расположение и поставить задачу. Если, конечно, вы – генерал Кобрисов. Если нет – прошу помочь исправить нашу ошибку. – Он попра-

вился: – Мою ошибку.

– Твою, – подтвердил генерал. – А то ты всё: «мы» да «мы».

И, отвернувшись, он стал прохаживаться по церковному двору, сцепив руки за спиною. Эта бригада, из двух полков полного состава, то есть верных три тысячи людей, была, как видно, обещана его соседу Кобрисову, чтоб чем-то заткнуть широчайшую брешь между правым флангом его армии и Рогачёвским шоссе, и по всем военным законам, да просто по-соседски, следовало её переправить по назначению, выделив ей – ввиду неопытности командира и полного незнания местности – проводника. Но чего они стоили сейчас, соображения соседства и даже, чёрт побери, дисциплины? Армия Кобрисова, по плану, не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту, это была одна из двух армий, которые Верховный наотрез отказался передать Жукову, а поставил на внутреннем полукольце обороны. Он оставлял себе этот резерв на тот случай, если танковые клещи Рейнгардта, Гёппнера и Гудериана всё же сомкнутся вокруг Москвы, – тогда, умирая, эти две армии позволят эвакуироваться ему самому и его сподвижникам из Политбюро и наркоматов, с их семьями и добром. Эту бригаду нельзя было выпросить у Кобрисова, нельзя было и у Жукова, можно лишь у самого Верховного – значит, ни у кого, разве что у Господа Бога. Но... не им ли она и послана была ему сейчас – для тяжкого искушения: присвоить эти три тысячи мо-

лодых, крепких, неплохо как будто одетых и вооружённых, пусть и необстрелянных, но – сибиряков, охотников, стрелков! В случае успеха – когда те две армии и не понадобятся, – о, разумеется, это простят. Но не пройди он хоть 2 километра – у какого же трибунала будут ещё сомнения насчёт его вины и единственной за неё кары?

Мученик Андрей Стратилат с выщербленной вратной иконы смотрел погасшими тусклыми глазами и ничего ему не советовал, лишь напоминал о собственной страшной участи.

Командир бригады, замерев, водил взглядом за его похаживаниями, все другие тоже следили напряжённо, и долее медлить было бы уже проявлением слабости.

Генерал подошёл медленно к подполковнику и сказал, опустив взгляд:

– С Кобрисовым мы всегда договоримся. Поступаете в моё распоряжение.

– Не понял, товарищ генерал, – сказал подполковник. – Вы всегда договаривались, а сейчас только намерены договориться?

От ямочек на его щеках только сильнее теперь выделялись внушительные желваки. В нём как бы разжималась упрямая до поры тугая пружина.

– О моих намерениях, – властно пробасил генерал, – прошу вопросов не задавать. В армии, согласно устава, выполняется последнее приказание. Так что будь спокоен, ты не

отвечаешь.

— По уставу оно так, — согласился подполковник, но тут же и возразил: — И всё же попрошу о вашем приказании сообщить генералу Кобрисову. Или, разрешите, я сообщу.

Это маленькое сопротивление подействовало на генерала противоположно — только утвердило его в самоуправном, опасном для него, но, быть может, чем чёрт не шутит, и правильном решении — втором в этот день, после того как он не стал препятствовать бегству на Рогачёвском шоссе и понял, что единственного не ожидает наступающий противник — удара «кулаком в рыло».

Впрочем, не столько об этом ударе думал он, сколько о том, чтоб подавить сопротивление стоявшего перед ним, когда посмотрел на часы и отчеканил:

— Вот что, подполковник. Объяви своим людям: даю им полтора часа отдыха. И — в бой.

Командир бригады, закусив губу, вмиг утрачивая свой румянец, ещё секунду постоял в раздумье.

— Есть, полтора часа отдыха — и в бой...

— Дать ему коня, — сказал генерал. — Справишься?

Подполковник молча кивнул. Делегат связи отдал ему повод и подтолкнул в седло.

Упираясь сумрачным взглядом в спину всадника, очень прямую, но с опущенными плечами, генерал представил себе, как дрогнут сердца этих трёх тысяч, когда им объявят, что война для них начнётся не через неделю, как они того

ждали и готовились, а сегодня, сейчас, и как пронзит их всех сознание, что многие из них видят друг друга в последний раз. Он представил, как они прежде замирают от этой новости, встреченной в молчании, а затем понемногу в этой трёхтысячной массе начинается движение – поначалу суетливое, потом всё более осмысленное, спокойно-расторопное: приготовление к самому худшему, что должно было когда-нибудь случиться и вот случилось. А виной тому – слово, короткое, сорвавшееся как бы и невольно...

Но между тем какое-то движение началось и вокруг него самого: как в полусне, он слышал распоряжения и команды, кто-то отвязывал лошадей у ограды, вскакивал и отъезжал, другие раскрывали свои планшеты и сумки, доставали двухвёрстные карты, планы и боевые карточки; радист, как будто и не спросясь никого, распаковывал рацию, втыкал антенный штырь с лепестками-звездой, кричал в трубку: «Заря! Как слышишь, Заря?.. Седьмой будет говорить, передаю Седьмому!...» Никто ни о чём не спрашивал генерала, всё происходило само собою, и вот из невидной отсюда балки донеслись тархтенье и взрёвы – то заводились моторы пятнадцати танков, выделенных ему из резерва лично Верховным и называвшихся не по чину «дивизионом»; в разрывах и опаданиях метели стало видно, как в эту балку с дальнего холма стекает на рысях казачий эскадрон и выплёскивается, совсем уже близко, на этот берег, чернея бурками, алея верхами кубанок. И с замиранием сердца, как прыгнувший с

высоты, он осознал, что приказ продолжать наступление уже отдан им – или по крайней мере так именно понято неотменимое слово командующего, сказанное тому, давно уже отъехавшему, командиру бригады: «Полтора часа отдыха и – в бой!»

Были побуждения – всё остановить, властным голосом всех вернуть на прежние места, сказать, что его не так поняли, совсем не то он хотел сказать. Но рот его, крепко сжатый, словно бы не мог разжаться, не могла, не смела гортань исторгнуть самые простые слова. И вместе с тем одна мысль, и окрыляющая, и парализующая, билась в нём, посылая толчками кровь в виски: что его поняли именно так и приказал он именно то, что хотел – и не решался.

Если бы знать ещё с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не 2 километра, на что он смутно надеялся, и не 20, о чём он даже мечтать не смел, но все 200 километров – до Ржева – будет его армия гнать перед собою немцев, этим рывком – от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск – побудив и приведя в движение все шесть соседних армий Западного фронта!

Так минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы.

И хотя остальное уже не от него одного зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы – той, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить, и всё же никогда, никакими стараниями, не отделят его имя от её

имени.

Через неделю газеты всего мира заговорят о «русском чуде под Москвой», но в этот час оно показалось чудом, пожалуй, лишь одному человеку – Шестерикову, стоявшему в совершенном отчаянии на обочине шоссе над своим умирающим генералом. Уже и милиционер отвалил, исполнив свой же завет: «Всем драпать пора». Всё же, к его чести, он ту горбушку отработал – более ничего из вещей не было украдено, он даже нагрёб на них сапогами отличный холмик. Другим таким холмиком, только подлиннее, был генерал. Однако ж, возле его рта ещё оттаивало, и значит, Шестерикову не пора было драпать.

Неожиданно сквозь завесу метели разглядел он поодаль, в поле, нечто неясное и странное, двигавшееся встречно движению по шоссе. Редкой цепочкой выплыло несколько танков, тащивших за собою сани, а в санях плотно сидели люди – в белых полушубках, в ушанках, в валенках, – держа к небу чёрные стволы автоматов. Белыми призраками, в маскхалатах, скользили друг за другом лыжники с притороченными за спиною винтарами. И, как в сновидении, медленной-медленной рысью, размётывая сугробы, шли чёрной россыпью конники в мохнатых плечистых бурках; передний держал стоймя у ноги зачехлённое знамя.

До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если б ему сказали, что он присутствует при начале *великого наступления*, он бы не то что не поверил, а не допустил

бы до ума. Его озарила надежда – сугубо практическая: ближайший к нему танк, притом свободный от саней, полз в каких-то шагах тридцати, и он вовсе не был миражом, он рокотал двигателем, и чёрное облачко выхлопа реяло за его кормой; если изменили Шестерикову глаза и уши, так нос почувал знакомый запах работающего трактора. Это был танк, вещь убедительная, почище той сорокапятки, о которой возмечтали они с милиционером, и даже той зенитки с её ненадёжной станиной. И он кинулся наперерез, размахивая маузером, крича танку остановиться. Против слепой махины он себе сам казался муравьём, размахивающим лапкой против сапога. Но чудо произошло: танк ход замедлил, и приподнялась крышка башенного люка; вынырнуло из-под неё юное лицо под сдвинутым на затылок чёрным шлемом и ворот комбинезона с лейтенантскими кубиками.

Мальчишка-лейтенант, выбравшись до пояса, оглядывался по сторонам горделиво и мечтательно, дыша открытым ртом. Он будто и не слышал Шестерикова, который бежал рядом вприпрыжку, вздевая к нему руки и выкрикивая свои мольбы. Однако, не ответив ни слова, лейтенант кивнул ему, припустился в люк и что-то там скомандовал. Танк повернулся на месте и пополз к шоссе. Он пересек наискось кювет, но весь на дорогу не выполз, а, медленно вращая башню, перегородил путь, как шлаббаумом, длинной своей пушкой.

Для лейтенанта, картинно стоявшего в люке, это могло добром не кончиться, и Шестериков ему покричал побережь-

ся, но тот либо не расслышал, либо по молодости не учёл. Впрочем, стрельнуть не посмел никто, а первая же повозка остановилась, и лошади, как их ни нахлёстывал ополоумевший ездовой, перед пушкою осадили, храпя и вылезая из хомутов. Бывшие в повозке, человек восемь, выскочили и пробежали, но ездовой своих козел не покинул, смотрел в страхе на лейтенанта, который молча, рукою, показывал ему на Шестерикова.

– Милый человек! – Шестериков бросился к ездovому, прижав одну руку к груди, а другой, по забывчивости, направляя на него маузер. – Пропустит он тебя, помоги только с генералом. Довези ты мне его до Москвы, до госпиталя, а там уж как бог положит...

С натугой дошло до ездovого, что снежный холмик и есть генерал. Другие сообразили живее и уже покрикивали руководяще: «Под мышки его бери, а ты – под коленки...» – а там, не усидев, и сами кинулись помогать.

Шестериков уложил генерала на сено – головою вперёд, к Москве, сдул с лица снег, подоткнул сена под затылок ему и под бока, сеном же накрыл ноги, обмотанные грязным бельём, хотел бы и перекрестить, но постеснялся ездovого и лейтенанта, только махнул рукой танку. Пушка медленно отвернула, и ездovый, мига не теряя, нахлестал лошадей в галоп.

Шестериков подошёл к лейтенанту, который, так ни слова и не произнеся, стоял в люке горделиво, едва только не

подбоченясь.

– Слышь, лейтенант, а как мне тебя потом вспоминать? – спросил он и благодарно, и с немалым удивлением. – Ведь так ты меня, милый человек, выручил! И откуда вы такие взялись тут? Все отступают, а вы наступаете...

То, что ответил ему лейтенант, перед тем как закрыть над собою тяжёлую крышку люка, сказать правду, не произвело на Шестерикова особенного впечатления. Но время спустя он вспомнил эти слова отчётливо – и с горьким сожалением, что никогда никому невозможно их повторить:

– Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Командующий-то у нас – Власов Андрей Андреич. Он же шуток не понимает, всё всерьёз.

Шестериков никогда не узнал, что лейтенанту этому уже не суждено было открыть люк самому. Встретясь через какой-нибудь час с головным отрядом 9-й немецкой армии, его танк получил в башню снаряд, и хоть тот не пробил брони, но отколовшийся изнутри кусочек стали dokonчил дело, проникнув сквозь шлем и кости черепа в мозг...

Не узнал Шестериков и того, что люди, которых так неожиданно он разглядел сквозь завесу метели – десантники в санях, лыжники, всадники, – сгодились только на то, чтоб нанести 9-й армии единственный встречный удар – и едва не всем полечь, устлав широкое поле белыми полушубками и маскхалатами, чёрными плечистыми бурками. Но и 9-я армия остановилась. Но и ей не хватило сил двинуться дальше,

переступив через их тела. Самое большее, чего она достигла, – завладела ненадолго полем, которое *было не более по-  
зицией, чем любое другое поле в России*, и на котором *немыс-  
лимо было удержать в продолжение трёх часов армию от  
совершенного разгрома и бегства...*

## 5

Успокоенный, Шестериков подобрал свой мешок, покидал в него всё добро, туда же и маузер в кобуре и, закинув автомат за плечо, отправился в свою роту. Он шёл той же дорожкой, по которой тащил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоём, только теперь за версту обходя те чёртовы Перемерки – и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы да кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения.

Однако ж оно состоялось. Всю эту массу бегущих задержал-таки на развилке Рогачёвского и Дмитровского шоссе своими пулемётами заградительный отряд, кой-кого – человечков десять самых резвых, которые всегда первыми поспевают, – тут же к стеночке прислонили и постреляли другим в острastку, а других – кого забрали для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов ежи, в которых уже всякая нужда отпала, даже наоборот, следова-

ло от них шоссе очищать. Ездового же с генералом не только пропустили, но ещё похвалили и записали все *данные* – для представления к медали «За отвагу». И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал генерала до госпиталя, и помогал носилки тащить по лестнице, и в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли «смертный медальон», он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал, называл его коротко и исчерпывающе – «наш генерал», а на расспросы, куда делись папаха и бурки, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял и ноги целы», – и такое было у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили с водкой и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, «выполняя задание своего командования», а такая справка была повесомее медали, которую он к тому же и получил-то тридцать два года спустя – из рук седовласого прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров-«следопытов» и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя».

Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли счастливо навылет, не затронув жизненно важных точек, к счастью и то оказалось, что он не поел перед своим ранением, обошлось без воспалений и нагноения, а

мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы – и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось у него с ногами, обмороженными едва не до почернения, даже стоял вопрос – не отхватить ли их по колено, но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничась переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным, тошнотным запахом гниющего заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребывать к себе запомнившегося ему солдата.

Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало Перемерок и французского коньяка; он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла километров 40, и связь с отдельными её частями была такая, что ни дозвониться, ни запросить письменно, но генерал надоедал – и слабую запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии; ни Шустрикова, ни Четвертухина в списках не оказалось, зато обнаружился Шестериков, от которого, правда, тоже не много осталось. И вот его, полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мёрзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему

другую шинель и ушанку, паёк на три дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с двумя подпрыгнувшими «е», он на попутных машинах добрался до Белокаменной, за которую чуть богу душу не отдал и которую наконец увидел.

В волнении, какого отродясь не испытывал, шёл он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из брёвен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрёстках посты милиции с винтовками, ступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице – и едва не был сражён наповал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут ещё санитары выкатили ему навстречу из лифта каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой; от того разноцветного, что выглядывало из-под неё, Шестериков зашатался и закрыл глаза. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись наконец до отдельной, увидел своего командующего – несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерикова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече:

– Попили!

– Чего уж, – сказал Шестериков, стараясь улыбаться по-

веселее. – Отложили до другого разу...

– Но зато, – сказал генерал, – теперича различать будем, где Большие Перемерки, где Малые. Верно?

– Да уж, не ошибёмся!

Шестериков вытащил из мешка, который пронёс-таки под белым халатом, маузер и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочёл гравированную витиеватую надпись на щёчке.

– Кому-нибудь ты его показывал? – спросил он, не поднимая глаз.

– Никому, – ответил Шестериков. – Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь.

В последнюю фразу он вложил и другой, потаённый, смысл. Хорошая, уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией – Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся.

– Стереть бы, да жалко. Дарёный всё-таки.

– Жалко, – сказал Шестериков.

Генерал отдал ему маузер.

– Пусть у тебя и побудет. Охотники и тут водятся.

День был свиданный, и генерал ожидал к себе жену, однако Шестериков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда её пускать: незачем женщине солдатские запахи вдыхать, это ей не свидание, а мука. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по те-

лефону.

– А, Шестериков! – отозвалась она приветливо. – Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?

– А это, Майя Афанасьевна, потом, когда уже повидаемся. А покамест я при командующем, так что – Шестериков и всё.

– Ну-ну, – согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу стеснения.

В мешке Шестерикова среди прочих интересных вещей хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет двести: некий сложный состав из отвара корней и травок, гусяного жира, пчелиного воска и мёда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал, посоветовал не давать мазать сёстрам, а чтоб оставляли баночку, а из баночки всё выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного зуда и жжения, что-нибудь ему рассказывал из своей деревенской жизни, ну, и встречно выпрашивал осторожно про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке у истопника, здесь же и *стал на довольствие*, кормился в столовой по норме санитаря. Норма была поменьше фронтовой, а выходило – получше, чем на фронте, где не каждый-то день горяченького поешь. Истопник же был по совместительству пожарник, стало быть, с телефоном, и Майя Афанасьевна в определённый час могла справиться, «как там наш».

– Наш ничего, – отвечал Шестериков. – Скоро запляшет.

Уже у него ноги чешутся – плясать.

Ещё не повидавшись с нею, он уже всё вызнал: и что квартира у них на улице Горького – из четырёх комнат, не считая кладовки и «холла», – это слово и в госпитале говорили, зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестериков его себе и представлял, этот «холл», который *не считался*, – и что у генерала две дочки, шестнадцати лет и четырнадцати, одну, как и генеральшу, Майкой звать, а другую – Светланкой, в честь сталинской, и что – вот главное – сама генеральша родом деревенская, из-под Вышнего Волочка, и девичья у неё фамилия – Наличникова, а Майей она себя сама назвала, на самом же деле – Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерикова, что вот генералов на дачные участки собираются записывать, по 2 гектара, в Апрелевке, так брать столько или не брать.

– Брать! – кричал в трубку из-под лестницы Шестериков. – Землю-то? Сколько дают, столько и брать!

Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила, заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке, покуда тот, приняв кубиков двести медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или увечье, да с пущей ещё тоскою, думал Шестериков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему вновь увидеть поникшие вёстры над тихой, ленивой речкой, пройтись босиком по росе или

лошадь погладить по бархатистому храпу да после, вскочив на неё без седла, проскакать с полверсты и вогнать в речку по холку. Все эти радости уже лет десять как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести в добровольном порядке и обеих лошадей и корову, а земли урезали до лоскутка, так что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пытит, вскапывая гряды. Из двух сараев и то пришлось один снести – тесно и не положено два. Всё же теперь общее – и значит, ничьё. Своя только бедность – и такая безысходная, лет на сто вперёд, что руки опускаются, не знаешь, за что раньше хвататься, всё ветшает, обваливается, линяет, все труды уходят в песок. Всё безразлично стало, даже вот какого председателя выбрать. Да какого велят – самого сговорчивого с властями да покрикливее, а значит, самого никудышного, пустопорожного мужичонку, а не найдётся такого – привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать, без паспорта на первой станции заберут, а справка от колхоза – самое большее на неделю, и ту выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мёрзлого окопа виделся Шестерикову его родимый край, над которым вместо весёлой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев повисло в лунной ночи унылое, запьянцовское, хриплоголосое:

На селе собака лает,  
Не собака – бригадир:

«Выходите на работу,  
Не то хлеба не дадим...»

А вот Апрелевка эта, Апрелевка, ведь генеральская же земля, на неё кто посягнёт, кто посмеет урезать? 2 гектара – да на них такое можно развести, что десять семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе и малость бы силёнок война оставила.

Меж тем генеральские ноги подживали, на них новая кожа нарастала – розовенькая, как у недельного поросёнка, – и однажды он встать решил, попросился – в душ. Едва довёл его Шестериков, так его шатало от слабости, а там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерикова – и щедрой мощью, и белизною, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914 года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану. Даже на лбу у него из-под волос вытягивался шрам – от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он их все объяснял одинаково: «По глупости». Шестериков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь, всё равно несложившуюся, посвятить холу этого тела и этой непутёвой и, как отчего-то показалось Шестерикову, по-своему настрадавшейся души.

Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а по-

сизживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно:

– Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого. В седле бы я совсем ожил!

«Домой ему хочется. – На сердце Шестерикова потеплело. – Конечно ж, дома-то оно всё быстрее заживёт. Да где ж я ему коника достану?» Легче бы было с машиной, которую вызвали бы ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки, – ан Шестериков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сёстрами, генерал перед собою увидел – коня. Даже трёх сразу: на другом восседал гордый Шестериков, а на третьем – тот, рогачёвский милиционер, который теперь служил в Москве, в конном патруле. Случайно с ним встретясь возле комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестериков его пожурил за преждевременный драп, тот в оправдание ничего не привёл, а зато душевно справлялся о здоровье генерала и вот – искупил вину, угрожал с кониками.

Генерал обошёл чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскинуться в седло, но не вышло, пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись в седле, он так привычно, одной рукой, разобрал поводья, так – одним похлопыванием по шее – и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось и каблука под брюхо, а только чуть повод отпустить – и он уже понёс, понёс косо, изгибая красиво шею, с места вскачь.

В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трёх всадников, проскакавших аллюром едва не по всей улице Горького – от Белорусского вокзала до Моссовета, – шли нестройной растягивающейся колонной ополченцы, поя негромко, точно бы про себя, «Священную войну»; шли суровые девушки в шинелях, сопровождая вчетвером громадную серебристую тушу аэростата, больше всего, казалось, озабоченные, как бы он их в небо не унёс; извилистые и почти недвижные очереди мёрзли у магазинов с заколоченными, заложенными мешками с песком витринами; никто не оборачивался на цокот подков, маленькая кавалькада с живописным генералом во главе проскакала точно бы по пустому городу. А всё же генерал остался доволен – помолодел, разругивался, глазами рассверкался – и возле дома, отдавая нехотя повод милиционеру, сказал:

– Ну, спасибо тебе, Шестериков.

Не сказал за своё спасение, не сказал за сохранённый маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника – сказал.

Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а, как бы опоздав, встретила на лестничном марше – в полураспахнутой каракулевой серой шубке, такой же шапочке-кубанке и с муфточкой на одной руке, – всё тактически правильно, как отметил Шестериков, в её годы она бы на морозе так румяно не выглядела. От природы блондинка, о чём свидетельствовали голубые глаза, она уже сильно красилась – в блондинку же, но прежняя несомненная её красота не убыла настолько,

чтоб дочери затмили мать; у них не было такого аккуратного, победно вздёрнутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры. Дочки генеральские были вылитые генералы, и что хорошо было в нём – просторно, могуче, полновесно, – то явно грозило их замужеству, хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники найдутся.

Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерикова:

– Это гость наш, не сильно его загружайте.

Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, со вочком, подала её Шестерикову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для полного осведомления:

– Майя Афанасьевна Кобрисова.

А дочери, обняв так бурно, что он слегка зашатался, поцеловали с обеих сторон в щёки.

С этой минуты пошла у Шестерикова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь – в облике генерала, – выходила к нему по утрам в столовую, облачённая в жемчужно-сиреневую пижаму, и, простирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения:

– Сейчас мы будем завтракать. Прошу!

Сидя за общим столом и учась потихоньку, как следует вкушать хлеб наш насущный, чтоб не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шесте-

риков решительно признавал, что если выпадают такие дни человеку, когда всё ему нравится, так вот они ему и выпадали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя утром и на ночь, нравилось, что Майя Афанасьевна неуко-снимо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являясь пред очи мужа распу-стёхой, и что генерал её за это особо ценит, нравилась даже и болезнь генерала – не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская – «мерцание предсердия». Его, Ше-стерикова, и впрямь не загружали, да он сам рад был загру-зиться: раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом хо-дил за пайками, ежедневно убирал всю квартиру, ежедекад-но мыл и натирал полы, всё чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала – сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные позиции так укрепились в доме, что Майя Афанасьевна без его мне-ния уже не обходилась, говорила соседке по лестнице: «Мой Шестериков не рекомендует... Мой Шестериков, например, так считает...» – звала его к чулану и консультировалась, не выкинуть ли, скажем, старый диван. «Ни в коем разе, Май-фанасин! Ещё как захочется Фотий Иванычу на нём отдох-нуть после принятия пищи. Всё починим, всему место най-дётся!» Он держал в голове всё ту же Апрелевку, где будет ещё и «шале»... Насчёт Апрелевки он не уставал напоми-нать, и всей семьёй строились планы, какая будет дача и рас-

положение сада и цветников, и где отвести места под гряды – салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестериков, «разве ж своё и покупное сравнишь? Тут каждый витамин тебе на месте!» Ну, и сам он, хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на этих двух гектарах домишко себе и непременно баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни.

Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал, включая в просторное это понятие и коллекцию его четырнадцати охотничьих ружей, из которых одиннадцать были дарёные, и многие фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестериков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле в том самом «холле», который оказался просто частью передней, только отделённой от неё раздвижной перегородкой с рифлёными стёклами. Сперва шли порыжевшие фотографии детства – маленький Фотя с двумя старшими братьями и тремя сёстрами, с матерью, могучей и очень на него похожей, и с отцом, казаком станицы Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши, рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе – всё семейство рядом с гробом отца, с напряжёнными вытянутыми лицами, глаза у всех какие-то рыбы. Несколько лет спустя повзрослевший Фотий Кобриков стоял, в гимнастёрке и в фуражке с кокардой, возложив

руку на плечо сидящему другу, такому же бравому и лупоглазому, оба – солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положив руки на эфес шашки, уже с теперешними усиками на пухлой ещё губе, юнкер Петергофской школы прапорщиков. Потом шла Красная армия: выпуск школы красных командиров, один ряд стоит, другой сидит, а возле ног у них двое лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем – в пол; Фотий Иванович сидит третий справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кое-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затёрты, то ли бритвочкой выскоблены, так что вместо голов на плечах у них сидели белые шары. Множество было снимков конных – рубка лозы по верхушкам, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы – она же «свечка», но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь делался степеннее: меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе – ногу вперёд выставя и к ней наклоняясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало, бывший кавалерист Кобрисов, в чёрном комбинезоне, приоткрывал над собой гробовидную крышку танкетки – шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку, лицо чумазое и весёлое, голова, бритая «под Блюхера». И вот последние предвоенные: санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной, во всём белом и дочерна загорелые, стоят по разные стороны колонны и как бы друг дружку, потерявши, высматривают;

потом они у фонтана встретились и вот наконец рядышком сидят – в гроте, увитом стеблями хмеля или плюща...

Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерикова – то, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление, и сыпались награды, гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова – не гремело, он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объясняла соседке:

– А нас-то за что награждать? Мы ведь, по плану, и не должны были наступать, мы только подстраховывали. Вот если бы у них с наступлением не вышло, тогда вся надежда на нас. Но кто это сейчас помнит?

Генерал – тот помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды всё-таки не выдержал – когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку взять интервью для мировой прессы:

– Интересно, интересно! А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?

Но, поостыв – и может быть, вспомнив про счастливое своё спасение, – добавил рассудительно:

– Ну, если по справедливости... украсть-то он, конечно, украл, но распорядился неплохо.

Всё же и ему – за дела наступавшей без него армии – следа на петлицу звёздочка, присвоили генерал-лейтенанта.

– Вспомнили! – сказала Майя Афанасьевна. – И на том спасибо.

Но если б его это успокоило! Именно с этого дня – как подменили генерала, ни весеннее солнышко не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всём. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал:

– Шестериков, ты воевать – думаешь?

Все враз примолкли – и генеральша, и дочери, а сердце Шестерикова ощутимо стронулось и покатилося августовской звездой, оставляя замирающий след.

Но в свою армию они уже не вернулись, там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали генерала Кобрисова в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию – вот эту самую, 38-ю. С нею сперва отступили от Дона чуть не до Волги и снова в Воронеж пришли, а оттуда, уже не отступая ни разу, дошли до Днепра и взяли плацдарм на Правобережье.

Жизнь Шестерикова при генерале была сравнительно тёплой и сытой, хотя и погибнуть случаи выпадали. Но ведь от того и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий её смысл. По твёрдому Шестерикова убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он, и сам он на другом месте стоил бы втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу, знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди.

Сам генерал себя называл солдатом и привычки свои солдатскими, и только Шестериков ведал, каково этим привычкам потрафить. В морозы баня – чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студёная – чтоб зубы ломило, щи – чтоб ложка в них стояла и не валилась, к обеду – водки два стопаря, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда – семьдесят минут сна и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей! И в избе, какая ни попадётся, чтоб чисто было и натоплено и ничем бы не воняло, воздух бы свежий был, а фортка – затворена. Тяжко ли всё это было Шестерикову? Ну, так тем и любимо!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.